This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

misc. Амфитеатров, А. А.

А. АМФИТЕАТРОВЪ

Legendy publicysta

ЛЕГЕНДЫ ПУБЛИЦИСТА.

HOOVER LIBRARY

PG 3451
A7A15
1905

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Товарищества „Общественная Польза“.
Большая Подъяческая, 39.
1905.

СОДЕРЖАНІЕ.

	стр.
Покаяніе Филиберта	1
Уганейда	12
Мееръ Львовичъ	21
Какъ они это приняли	31
Стихъ о воскресшемъ Христѣ	43
Альбигоецъ	55
Капище Ормузда	62
Изъ «Зачеркнутыхъ страницъ»	77
Ода	87
Сказка о мужикѣ Иванѣ	101
Сказка о здравомысленномъ медвѣдѣ	130
Сказка о блохѣ	141
Нефтяныя неожиданности	147
Баку подъ водою	164
Сочельникъ Ивана Ивановича	176
Термометрическое недоразумѣніе	189
Я вновь предъ тобою!	193
Въ темноросcіи	206
Приложенія:	
А. Два слова о курьезѣ съ «Альбигойцемъ»	221
Б. Бахтадзе	226

Покаяніе Филиберта

или

Какъ и почему рыцарь сдѣлался портнымъ.

Храбрый рыцарь, сиръ Филибертъ де-Мальтебрёнъ, владѣтель Отена, что подъ Лиллемъ, громко застучалъ въ двери рая золоченою рукояткою боевого меча.

— Апостолъ Петръ! Небесный ключарь! Отвори мнѣ, потому что проклятый сарацинъ подъ Акрою распоролъ мнѣ животъ, и выпали мои внутренности, и улетѣла моя душа.

Апостолъ Петръ высунулъ голову въ слуховое оконце, что сбоку райскихъ воротъ, посмотрѣлъ въ свои круглые очки, кто зоветъ, и сказалъ:

— Ага! Вотъ умеръ и ты, бѣдняга Филибертъ? Ну, что же? Не тужи. Всякому человѣку надо умереть, отъ этого не уйдешь. Но зачѣмъ ты такъ громко стучишь?

Филибертъ обидѣлся и возразилъ:

— Слѣдовало бы еще громче стучать. Я думалъ, что вы всѣ тамъ въ раю заснули. Уже и то странно, что мнѣ надо было стучать. Когда приходитъ почтенный и знатный покойникъ, подобный мнѣ, надлежало бы заранѣе открывать для него ворота настежь.

Апостолъ Петръ смиренно отвѣчалъ:

— Ужъ извини, что такъ случилось, братъ Филибертъ. Если ты умрешь когда-нибудь въ другой разъ, я непремѣнно открою передъ тобою ворота настежь. Но сейчасъ, видишь ли, какое недоразумѣніе: твоего имени нѣтъ у меня въ спискѣ.

— А какой у тебя списокъ?—изумился Филибертъ.

— Списокъ праведныхъ усопшихъ,—для кого я долженъ снимать засовы съ дверей, ведущихъ къ обителямъ блаженства. Только предъ тѣми, кто стоитъ въ спискѣ, размыкаются мои желѣзные замки. А кого въ спискѣ нѣтъ, того допустить въ рай я не имѣю права.

— И я въ твоемъ спискѣ не значусь?

— Ни единою буквою.

— Удивительно!—воскликнулъ Филибертъ.—И даже обидно! Позабыть внести въ списокъ этакого выдающагося мертвеца! Вотъ ужъ не ожидалъ, что встрѣчу въ раю подобную небрежность!..

— Гм...—сказалъ райскій ключарь.—Если ты увѣренъ, что тебѣ надо быть въ раю, то, дѣйствительно, произошла непростительная ошибка. Хотя я долженъ предупредить тебя, что за всѣ вѣка, съ тѣхъ поръ, какъ я, изодня въ день, получаю списокъ, ошибки въ немъ никогда еще не бывало.

— Если я увѣренъ?!—вскричалъ Филибертъ, гнѣвно стукнувъ о земь тяжелымъ мечомъ. — И ты сомнѣваешься? Конечно, увѣренъ. Куда же еще, если не въ рай, могу быть назначенъ я, Филибертъ де-Мальтебрёнъ Лилльскій, прозванный отъ враговъ Христовыхъ Филибертомъ Свирѣпымъ, Филибертомъ Кровавою Рукой?

Апостолъ Петръ отвѣчалъ:

— Обыкновенно, тѣ, кого нѣтъ въ моемъ спискѣ, должны идти искать пріюта въ аду. Если же и тамъ ихъ не примутъ, имъ остается еще возможность постучаться въ чистилище.

— Что-о-о?!.—заревѣлъ Филибертъ де-Мальтебрёнъ.—

Въ чистилище? Меня? Ты осмѣлился? Несчастный! Да понимаешь ли ты, съ кѣмъ говоришь? Да знаешь ли ты, что вотъ этою самою рукою я убилъ въ бою, ad majorem Dei gloriam, сто двадцать девять сарациновъ, а сто тридцатаго не убилъ только потому, что онъ меня убилъ? Знаешь ли ты, что въ языческомъ предмѣстьи, въ Селевкіи антіохійской отрядъ мой не оставилъ камня на камнѣ, не пощадилъ ни столѣтнихъ стариковъ, ни женщинъ, ни дѣтей? Мы рубили, какъ бѣшеные, брызги крови летѣли выше домовъ...

— Какъ же, какъ же,—сказалъ апостолъ Петръ. Очень помню. Брызги крови взлетали еще выше, Филибертъ: онѣ поднимались къ намъ въ рай и осѣдали красною росою на крылья ангеловъ, на бѣлыя одежды святыхъ. И всѣ мы въ раю отряхались отъ этихъ капель, плача и сокрушаясь: опять какой-то несчастный безумецъ, во имя вѣры, неистовствуетъ на землѣ надъ ближними своими и льетъ неповинную кровь, воображая угодить тѣмъ Богу. А это былъ ты, Филибертъ!

— Въ родномъ моемъ городѣ Лиллѣ,—продолжалъ рыцарь,—я, наущаемый своимъ мудрымъ капелланомъ, велѣлъ арестовать всѣхъ еретиковъ, всѣхъ, на кого падало хоть малѣйшее подозрѣніе въ волшебствѣ, алхимиковъ, предсказателей, астрологовъ, ученыхъ книговѣдовъ, философовъ, старыхъ бабъ и слишкомъ зажившихся стариковъ. Я взялъ ихъ вмѣстѣ съ ихъ семьями, собралъ ихъ книги, утварь и сосуды, и сложилъ среди соборной площади великій костеръ и всѣхъ ихъ спалилъ на кострѣ, и по вѣтру разсѣялъ пепелъ.

— Охъ, ужъ лучше и не вспоминай!—вздохнулъ апостолъ Петръ.—Всѣмъ намъ здѣсь ты запорошилъ тогда глаза этимъ пепломъ. А дымъ? Отвратительный чадъ жаренаго человѣчьяго мяса? Мы ходили, закопченные, какъ эѳіопы, и демоны изъ ада смѣялись надъ нами: «гдѣ же ваша святая бѣлизна»? Вотъ какъ ты угостилъ

насъ своимъ ужаснымъ дымомъ!.. Я до сихъ поръ чихаю при одномъ воспоминаніи!

Филибертъ, недоумѣвая, пожалъ плечами, откашлялся и началъ:

— Что касается моего усердія противъ проклятыхъ обрѣзанныхъ жидовъ...

— Послушай, Филибертъ,—обиженно прервалъ его апостолъ Петръ.—На твоемъ мѣстѣ, я не проклиналъ бы ихъ такъ грубо, говоря съ человѣкомъ, котораго отецъ, дѣдъ и прадѣдъ были добрые іудеи и который самъ носилъ обрѣзаніе, и до конца земныхъ дней своихъ очень строго соблюдалъ весь іудейскій обрядъ.

— Гм... Вотъ о чемъ я, признаться, никогда не думалъ!—воскликнулъ пораженный Филибертъ.

— Да, ваша братія, забіяки съ горячею кровью и крѣпкимъ кулакомъ, къ сожалѣнію, слишкомъ забывчива насчетъ того, изъ какой страны и города пошла наша вѣра.

— Въ такомъ случаѣ, извини меня, пожалуйста, добрый Петръ, я совсѣмъ не хотѣлъ тебя обидѣть!

— Богъ проститъ, Филибертъ. Ну, такъ что же ты заговорилъ объ евреяхъ?

— Видишь-ли...—замялся Филибертъ,—я не ожидалъ... Ты такъ принялъ мои слова, что я предпочитаю лучше ужъ и не разсказывать.

— Да,—согласился апостолъ Петръ,—лучше не разсказывай. Тѣмъ болѣе, что оно и не нужно: вѣдь, я *твоихъ* евреевъ всѣхъ знаю.

— Откуда тебѣ знать ихъ? удивился Филибертъ.

— Кому же и знать ихъ, какъ не мнѣ?—засмѣялся апостолъ.—Вѣдь, никто другой, а я открывалъ для нихъ эти ворота.

— Ты пропустилъ ихъ въ рай?—вскричалъ Филибертъ, тяжело всплеснувъ руками, закованными въ кольчужныя перчатки.—Возможно-ли? Что ты сдѣлалъ? Это

ужасно, небесный ключарь! Жиды, которыхъ я гналъ,—въ раю?!

— Всѣ, Филибертъ! И тѣ, которыхъ ты въ Палестинѣ лишалъ убогихъ жилищъ и послѣдняго имущества, сжигая ихъ дома, выгоняя ихъ, нагихъ, больныхъ, трепещущихъ, умирать отъ голода, средь знойныхъ дней и холодныхъ ночей, въ дышащую лихорадками безплодную каменную пустыню. И тѣ, которыхъ ты сожигалъ на кострахъ въ Лиллѣ, Отенѣ и Верденѣ. И прекрасная Ревекка, дочь золотыхъ дѣлъ мастера, которая убила себя, когда ты ее изнасиловалъ, а ея теплый трупъ приказалъ выбросить собакамъ. И еврейскія дѣти, которыхъ твои латники, ради пьяной забавы, бросали изъ башенъ на каменныя плиты. И горемычный оружейникъ Іоссель, котораго, когда онъ осмѣлился напомнить тебѣ о старомъ долгѣ за починку панцыря, ты приказалъ повѣсить на дерево вверхъ ногами и бить палками по спинѣ, покуда не обнажатся кости. И толстый, старый мѣняла Мендель, котораго ты пёкъ на медленномъ огнѣ, смѣясь, что вытопишь изъ него либо сало, либо червонцы. Всѣ! На что ужъ дурной человѣкъ былъ ростовщикъ Хаимъ, послѣ пытокъ, утопленный тобою въ Шельдѣ, а и тому я долженъ былъ открыть дверь, когда онъ обнажилъ предо мною плечи, истерзанныя желѣзными царапками твоихъ палачей, и показалъ горло, перетертое веревкою съ тяжелымъ камнемъ.

— Негодяй Хаимъ въ раю, а для меня ты отказываешься отворить ворота?—возопилъ Филибертъ.

Апостолъ Петръ возразилъ:

— Да, Хаимъ очень дурно жилъ на томъ свѣтѣ и, если бы ты не выручилъ его, онъ, вѣроятно, заслужилъ бы себѣ адскія муки. Но Богъ не наказываетъ дважды. Страшными страданіями, которымъ ты подвергъ Хаима на землѣ, онъ очистился отъ своихъ преступленій и заслужилъ мѣстечко подъ райскою сѣнью.

— Я всегда полагалъ, что умертвить или оскорбить невѣрнаго, значитъ, угодить Богу и порадовать святыхъ. Такъ меня учили съ дѣтства.

— Дурно тебя учили, Филибертъ. Не за что тебѣ благодарить своихъ наставниковъ. Завѣтъ Божій людямъ былъ: «не дѣлай другому того, чего не желаешь себѣ». А ты, Филибертъ, какъ разъ то и дѣлалъ другимъ, чего не желалъ себѣ. Знай, Филибертъ, что—кто хочетъ доказать свою любовь къ Христу муками и казнями не признающихъ Его, тотъ съ ними и Его снова распинаетъ. Каждое насиліе вопіетъ объ отмщеніи въ рай, и блаженство святыхъ нарушается дѣяніями земной злобы. Дымъ костровъ, на которыхъ ты сжигалъ еретиковъ, ѣстъ наши глаза; человѣческая кровь, въ которой по щиколку ступалъ твой конь на сирійскихъ площадяхъ, пятнаетъ наши одежды и помутила воды райскихъ рѣкъ; слезы твоихъ жертвъ сдѣлали солеными наши источники, наши птицы научились повторять ихъ предсмертные вопли, ихъ боль — наша боль, ихъ ужасъ — нашъ ужасъ... Потому, что,—знай Филибертъ!—Богъ отъ вѣка послалъ на землю, въ даръ людямъ, отраженіе свое—свободную совѣсть, и лишь чрезъ свободную совѣсть можетъ человѣкъ узнать Бога, любить Бога и придти къ Богу. Всякій, кто гонитъ человѣка другой вѣры за вѣру его,—совѣсть гонитъ. И кто совѣсть гонитъ—Бога гонитъ!

Такъ сказалъ райскій ключарь и захлопнулъ окно. А смущенный Филибертъ остался за воротами рая въ большомъ недоумѣніи. И, такъ какъ накрапывалъ дождь, притомъ пренепріятный,—изъ хлопковъ горящей сѣры,—то рыцарь рѣшился укрыться хоть въ аду, и сталъ стучать въ двери, чтобы его впустили.

— Съ превеликимъ бы удовольствіемъ,—осклабляя ротъ улыбкою, отвѣчалъ ему царь Иродъ, исполняющій должность привратника въ аду.—Люблю хорошее обще-

Съ удовольствіемъ бы... Но на твоемъ рыцарскомъ

плащѣ красуется крестъ—символъ искупленія; съ этимъ священнымъ знакомъ къ намъ можно попасть только по особому приказанію: а о тебѣ его не было. Притомъ лицо твое говоритъ мнѣ, что, хотя ты ужасно много нагрѣшилъ на землѣ, и слѣдовало бы тебя малость прокипятить въ нашихъ котлахъ, но, къ счастью своему, ты былъ больше глупъ, чѣмъ золъ, и самъ не понималъ мерзостей, которыя творилъ. А у насъ въ аду— притонъ только для совершенно нераскаянныхъ грѣшниковъ сознательной злой воли. Словомъ, тебя въ моемъ спискѣ нѣтъ, и мнѣ очень достанется, если я отворю чужому, да еще,—вонъ, вѣдь, ты какая особа!—крестоносному рыцарю! Нѣтъ тебѣ мѣста въ аду. Попытай счастья въ чистилищѣ.

— Да, ужъ теперь—все равно: только оно одно мнѣ и осталось!—вздохнулъ Филибертъ и зашагалъ къ чистилищу подъ сѣрнымъ дождемъ.

Въ чистилищѣ ворота сами широко распахнулись передъ рыцаремъ, и серьезный, не улыбающійся человѣкъ поклономъ встрѣтилъ его на порогѣ.

— Добро пожаловать. У меня въ спискѣ стоитъ твое имя, Филибертъ. Я давно ожидаю тебя.

— А кто ты такой?—спросилъ Филибертъ.

Серьезный человѣкъ отвѣчалъ:

— Меня зовутъ Виргилій. При жизни я былъ языческимъ поэтомъ; простой народъ на землѣ считаетъ меня волшебникомъ; а здѣсь я управляю этимъ мѣстомъ скорби и покаянія.

— Брр...—поморщился Филибертъ де-Мальтебрёнъ.— Не во гнѣвъ тебѣ будь сказано, живалъ я въ лучшихъ усадьбахъ. Здѣсь-то, значитъ, и суждено мнѣ вѣковать свой вѣкъ? Очень ужъ не весело у тебя въ гостяхъ, почтенный Виргилій. Ты, сдается мнѣ, человѣкъ разумный и добрый. Будь другомъ, скажи: нѣтъ ли у васъ тутъ какой лазейки— проюркнуть въ рай? Мнѣ, сказать по правдѣ, туда гораздо больше хочется...

Виргилій покачалъ головою.

— Зачѣмъ тебѣ лазейка? Ты можешь перейти отсюда въ рай и большими воротами; только это надо заслужить, а, чтобы заслужить, нужно время.

— А когда это можетъ быть?

— Когда изгладится и забудется зло, которое ты совершилъ на землѣ, и смоются пятна, которыми ты осквернилъ свою совѣсть.

И отвелъ Виргилій рыцаря на высокую гору, и показалъ ему глубокую долину, а въ ней множество людей, больныхъ, испуганнаго и голоднаго вида, избитыхъ, окровавленныхъ, босыхъ и нагихъ.

— Узнаешь ли ты этихъ людей, лишенныхъ даже одежды?

— Мнѣ кажется...—пробормоталъ Филибертъ.—Да, это, несомнѣнно, такъ... Между ними я вижу кое-кого изъ тѣхъ, которыхъ я жегъ на кострахъ, лишалъ крова и выгонялъ околѣвать въ пустыню...

— Ты не ошибаешься,—строго сказалъ Виргилій.— Это—призраки бѣдняковъ, которыхъ братья ихъ,—и ты въ томъ числѣ, Филибертъ,—преслѣдовали за ихъ вѣру. По насилію и безумной жестокости твоей и подобныхъ тебѣ, они наги и дрожатъ отъ холода. Ты закрывалъ глаза на бѣдствія ихъ при жизни. Теперь они всегда останутся съ тобою и ты будешь видѣть ихъ всюду и всегда, куда бы ни обратилъ свои очи. Такъ рѣшилъ о тебѣ Господь, и я исполняю его повелѣніе.

— Брр... — повторилъ, нахмурясь, Филибертъ. — Чѣмъ вѣчно любоваться этими тощими скелетами, мнѣ больше нравится кипѣть въ смолѣ. Ужъ хоть бы они сколько-нибудь пріодѣлись!

— Одѣнь ихъ,—ласково молвилъ Виргилій,—одѣнь ихъ собственными своими руками, Филибертъ, и, быть можетъ, тогда и тебѣ улыбнется милосердіе Господа.

— Что? Мнѣ рыцарю, сдѣлаться портнымъ и работать на невѣрныхъ, еретическихъ мертвецовъ?!

Страшно вскипѣлъ Филибертъ, обругалъ Виргилія, хуже чего нельзя, и пошелъ прочь. Обошелъ все чистилище, разыскивая по стѣнамъ лазейку въ рай, не нашелъ ничего и вернулся къ языческому поэту.

— Стало быть, такъ мнѣ и сидѣть здѣсь у тебя, покуда не отпустишь?

— Я уже говорилъ тебѣ.

— Да... говорилъ... Помню я, помню... И отъ мертвецовъ этихъ тоже никакъ нельзя меня освободить?

— Нельзя, Филибертъ, если ты самъ имъ не поможешь.

— Ужасно они мнѣ надоѣли, Виргилій. Воютъ, дрожатъ, зубами стучатъ, синіе... Нагота ихъ мнѣ душу переворачиваетъ... И страшно, и жалко...

— Одѣнь ихъ, и ты не будешь видѣть ихъ наготы.

— Да я, братъ любезный, пожалуй, ужъ и готовъ бы, но, вѣдь, надо шить, а шить то я не умѣю...

— Выучись,—сказалъ Виргилій.

— Притомъ, такое множество людей... Эхъ, кабы я зналъ, что придется мнѣ на нихъ въ чистилищѣ портняжить, убивалъ бы ихъ много меньше!.. Откуда я теперь возьму матеріи, чтобы всѣхъ одѣть?

— Я вижу на тебѣ рыцарскій плащъ. Онъ имѣетъ чудесное свойство. Сколько бы ни рѣзалъ ты отъ него матеріи для бѣдняка, она будетъ возрождаться, пока ты не одѣнешь послѣдняго изъ этихъ несчастныхъ.

— Вотъ хитрая штука!—сказалъ рыцарь, снимая съ себя плащъ. Не зналъ! А нитки?

— Развѣ нѣтъ на тебѣ кафтана, рубахи и шароваровъ? Преврати ихъ въ нитки, и тебѣ достанетъ ихъ на весь твой долгій трудъ.

— Но мнѣ нуженъ огромнѣйшій запасъ иголокъ.

— Ты настругаешь ихъ изъ своего меча и кинжала.

— Мнѣ нужны ножницы, утюгъ, пуговицы, весь портняжій прикладъ.

— Ты смастеришь ихъ изъ своего шлема, кольчуги, пояса, рукоятки меча.

— Гм... все это очень находчиво съ твоей стороны и, можетъ быть, по вашему, по здѣшнему, выходитъ и прекрасно... но, послушай, Виргилій! Вѣдь, если я все съ себя сниму, то самъ останусь голый...

Виргилій строго посмотрѣлъ ему въ глаза и сказалъ:

— А они развѣ одѣты?

Рыцарь потупился, покраснѣлъ и махнулъ рукою:

— Будь по твоему... Шить, такъ шить, только бы не мучили эти... Сажусь!.. Давай!..

— А чтобы ты не скучалъ за работою, — говоритъ Виргилій, — вотъ тебѣ товарищъ!

И подводитъ того самаго сарацина, который подъ Акрою распоролъ Филиберту животъ. Потому что, не успѣлъ Филибертъ еще испустить духъ, какъ и самъ сарацинъ подвернулся подъ тяжелую руку короля Ричарда Львиное Сердце, и тотъ раскроилъ его мечомъ на-двое, отъ темени до самаго сѣдла.

Филибертъ обрадовался сарацину, сарацинъ — Филиберту: хоть и были врагами, а все-таки знакомые уже люди и боевые товарищи. Оба удивились, что видятъ другъ друга и очутились въ одномъ мѣстѣ.

— Ты за что̀ здѣсь? — воскликнулъ сарацинъ.

Филибертъ вздохнулъ, и говоритъ:

— За то, что пролилъ много крови невѣрныхъ. А ты?

Сарацинъ вздохнулъ:

— За то, что пролилъ много крови христіанъ.

Но Виргилій сказалъ имъ:

— За то, что вы оба пролили много человѣческой крови, не позволяя людямъ славить Бога по ихъ совѣсти и какъ они хотятъ.

И сидятъ Филибертъ съ сарациномъ на горѣ въ чистилищѣ, поджавъ подъ себя ноги калачикомъ, по-портновски, и шьютъ, шьютъ, шьютъ. Когда у нихъ готова одежда, они бросаютъ ее съ горы въ толпу нагихъ призраковъ, что въ долинѣ. И, когда видятъ, что еще одинъ изъ призраковъ получилъ одежду, въ этотъ день имъ легче терпѣть тоску чистилища, и сумерки его для нихъ свѣтлѣе, и они уповаютъ, что когда-нибудь Богъ проститъ ихъ и откроетъ имъ рай. Филибертъ поглядитъ на сарацина, сарацинъ— на Филиберта, оба улыбнутся,—и, онять, отмѣривъ матеріи еще на одежду, сгибаются надъ работою и шьютъ, шьютъ, шьютъ...

Уганейда.

(Два слова о сіонистахъ).

— Собственно говоря, я не понимаю, дорогой ребъ Нухимъ, почему вы такъ крѣпко возстаете противъ этой Уганды, которую любезно предлагаетъ вашему народу Англія, если только она васъ не надуетъ?.. Я читалъ описанія: чудесно тамъ, право!.. И пальмы, и море, и даже жирафы!.. Лестно жить въ странѣ, гдѣ пасутся на свободѣ живыя жирафы! Гораздо лестнѣе, чѣмъ въ нашей Вологдѣ, подъ небомъ цвѣта солдатской шинели, надъ рѣчкою съ благозвучнымъ названіемъ Золотухи, среди населенія въ двадцать тысячъ жителей, изъ нихъ же десять тысячъ босяковъ-зимогоровъ, а другія десять тысячъ готовятся стать зимогорами!.. Если бы я былъ еврей, я ухватился бы за Уганду обѣими руками.

— Но вы не еврей,—тихо возразилъ Нухимъ.

Я ходилъ по столовой, изъ угла въ уголъ, заложа руки въ карманы, мечталъ и благодушествовалъ, а Нухимъ сидѣлъ у стола, водя за мною печальными, глубокими глазами, которые, глядя на бѣлый свѣтъ уже семьдесять второй годъ, ничуть не утратили блеска и ясности, подаренныхъ имъ отъ Бога еще въ то время, когда ребъ Нухимъ бѣгалъ въ далекой Шполѣ босымъ младенцемъ, съ хвостикомъ куртки изъ штановъ.

— У васъ будетъ тамъ отлично, ребъ Нухимъ,— убѣждалъ я. Когда-то мнѣ предлагали дипломатическую

карьеру на Востокѣ. Я уклонился, потому что не люблю, чтобы мнѣ прострѣливали животъ пулею или перерѣзывали горло ятаганомъ Но, если евреи оснуютъ самостоятельное государство въ Угандѣ, я непремѣнно начну изыскивать пути: нельзя ли къ вамъ консуломъ? У васъ будетъ интересно, умно, пріятно и весело. Еврейская кухня превосходна, а, такъ какъ въ Уганду собираются, по крайней мѣрѣ, полтораста русскихъ евреевъ-журналистовъ, то, значитъ, въ Угандѣ, при несомнѣнной свободѣ печати, будетъ издаваться не менѣе 150 русскихъ газетъ!.. Будетъ, что читать, и, навѣрное, устроится, наконецъ, клубъ писателей!.. Право хорошо! Поѣдемте, ребъ Нухимъ!

Нухимъ посмотрѣлъ на меня искоса, и проворчалъ:

— Чтобъ моимъ врагамъ былъ такой годъ, какъ я хочу ѣхать въ вашу Уганду!

Я говорилъ:

— Я читалъ въ газетахъ и знаю, ребъ Нухимъ, что многіе изъ васъ, старыхъ евреевъ, видятъ въ Угандѣ какъ бы измѣну идеѣ Сіона. Но, позвольте! Вашъ знаменитый и очень талантливый вождь, докторъ Герцль, громко разъяснилъ это недоразумѣніе... Уганда—не конецъ сіонизма, Уганда — только узловая станція, сборный пунктъ для Израиля на пути къ Сіону. Исторія Израиля собирается повторить въ Угандѣ самое себя. Развѣ Африкѣ впервые служить евреямъ этапомъ къ переходу въ землю обѣтованную? Вспомните патріарха Іосифа и землю Гесемъ...

— Молодой человѣкъ!—сказалъ ребъ Нухимъ.

Такъ какъ въ комнатѣ, кромѣ насъ двоихъ съ ребъ Нухимомъ, не было никакого человѣка—ни молодого, ни стараго, то приходилось принять «молодого человѣка» на свою сѣдую бороду. Правда, у самого ребъ Нухима борода была не только бѣлая, но даже желтая и какъ бы съ празеленью: словно онъ жилъ на свѣтѣ лѣтъ триста, и вѣка отложили на немъ мохъ свой..

— Молодой человѣкъ! Земля Гесемъ носитъ у насъ названіе плѣна египетскаго. Господь вывелъ насъ изъ египетскаго плѣна; зачѣмъ же намъ возвращаться въ египетскій плѣнъ? А,—что вы мнѣ скажете за патріарха Іосифа, то Іосифъ давалъ намъ, евреямъ, одно свое завѣщаніе, чтобы мы, евреи, даже мертвый трупъ его не оставляли въ вашей Африкѣ!.. Вотъ какой былъ онъ, Іосифъ! Что̀ вы себѣ думаете? Хотѣлъ бы онъ ѣхать съ однимъ такимъ Герцлемъ въ Африку? Пхе!

— Ужъ не знаю, поѣхалъ ли бы Іосифъ, но... ей Богу, ребъ Нухимъ, по всѣмъ разсказамъ, рай эта Уганда! настоящій рай!

— И нехай она себѣ будетъ очень здорова!

— Тогда какъ Палестина... Ну, конечно, я понимаю васъ съ точки зрѣнія вѣкового, историческаго вашего идеала, но надо же считаться и съ матеріальною стороною дѣла. Палестина – камень и песокъ, одичалыя горы, запущенныя степи, тощія рѣки, безлѣсье, отвратительное побережье, солончаки, малярія, бедуины, саранча... Палестина не въ состояніи прокормить евреевъ, если сіонистское движеніе приметъ широкіе размѣры. Вы задохнетесь въ этой банкѣ съ пескомъ хуже, чѣмъ даже въ вашей злосчастной чертѣ осѣдлости, не говоря уже о томъ, что въ Палестину васъ покуда не пускаютъ, да, если и пустятъ, то ни турки, ни европейскій контроль не оставятъ вамъ той самостоятельности, какую подъ протекторатомъ просвѣщенныхъ мореплавателей вы можете пріобрѣсти и развить въ Угандѣ. Не забудьте, что эмиграція свободнаго еврейства изъ Палестины началась задолго до Веспасіана!.. Палестина не рѣшаетъ экономическихъ вопросовъ еврейскаго разсѣянія. А Уганда—рай!

Ребъ Нухимъ взглянулъ на меня прямо и остро.

— Молодой человѣкъ! знаете ли вы, что такое рай?

— Гм?

Я подумалъ и долженъ былъ признаться:

— Нѣтъ, ребъ Нухимъ, я не знаю, что такое рай!

— Ну, такъ слухайте меня немножко: я разскажу вамъ, что такое рай!

— Жилъ-былъ нѣкій праведный и ученый еврей. Такой праведный, что самъ Господь его чуть-чуть боялся, потому что онъ былъ очень твердъ въ законѣ а законъ такой большой, что никто изъ живущихъ на землѣ не можетъ довольно знать его, такъ что даже самъ Господь повторяетъ и изучаетъ законъ свой по три часа въ каждыя сутки, по три первые часа изъ двѣнадцати часовъ дня! Когда такой мудрый и праведный рабби умеръ, Господь не сталъ судить его, пересѣлъ съ трона суда на тронъ милосердія и сказалъ:

— Зачѣмъ судъ такому человѣку? Онъ былъ милосердъ, безъ ошибки исполнялъ мой законъ и замолилъ всѣ свои грѣхи. Отведите его въ рай!

Божій ангелъ взялъ праведнаго рабби и отвелъ его въ рай! И узрѣлъ праведникъ страну, въ которой пыль была дороже золота, а почва—какъ драгоцѣнные камни. На деревьяхъ висѣли удивительные плоды, и даже незрѣлые изъ нихъ не набивали вкушавшему оскомины, но таяли во рту, какъ сотовый медъ, а зрѣлые давали сокъ, подобный укрѣпляющему вину,—и каждый листочекъ въ тѣхъ благоуханныхъ медвяныхъ лѣсахъ былъ цѣлебнымъ лѣкарствомъ. Ползучіе гады и хищные звѣри жили въ дружбѣ съ людьми, и птицы пѣли, и животныя провозглашали премудрость, и даже оселъ въ раю былъ умнѣе всѣхъ ученыхъ земли.

Стоялъ праведный рабби среди всей этой радости и славилъ Бога. Но, по маломъ времени, онъ почувствовалъ голодъ.

— Не стѣсняй себя,—посовѣтовалъ ему ангелъ. Сорви одинъ изъ плодовъ и ѣшь.

Но рабби отвѣтилъ:

— Я лучше подожду, не буду портить себѣ аппетита.

Господь обѣщалъ намъ, евреямъ, райскій обѣдъ изъ рыбы Левіаѳана и звѣря Бегемота. Желаю вкусить ихъ мяса.

Ангелъ очень удивился и спрашиваетъ:

— Что это за Левіаѳанъ и Бегемотъ?

Еще больше ангела изумился праведный рабби и вскричалъ:

— Какъ? ты, ангелъ, не знаешь рыбы Левіаѳана, съ которою Господь играетъ въ третью часть дня? Ты не знаешь Бегемота, котораго Господь сотворилъ въ тысячѣ горъ?

Ангелъ отвѣчалъ:

— Въ первый разъ о нихъ слышу.

— Если такъ,—сказалъ праведный рабби,—слушай и учись. Это тебѣ необходимо, потому что ты, какъ я замѣчаю, необыкновенно невѣжественный и глупый ангелъ. Все, что сотворилъ Богъ, Онъ сотворилъ въ мужскомъ и женскомъ полѣ. Такъ, создалъ Левіаѳана-самца, прямо плывущаго змѣя, и Левіаѳана-самку, змѣя свитаго клубами. Но если бы они размножились, то опустошили бы вселенную. Какъ же поступилъ Богъ? Онъ оскопилъ Левіаѳана-самца, а самку убилъ и посолилъ ее для великаго пира—будущаго пира праведныхъ. Точно такъ же создалъ Онъ на тысячѣ—горахъ Бегемота-самца и Бегемота-самку. Но если бы они размножились, то опустошили бы весь міръ. Какъ же поступилъ Богъ? Онъ оскопилъ самца, обезплодилъ самку и сберегаетъ ихъ для будущаго пира—великаго пира своихъ праведныхъ. И, когда они видятъ другъ друга, Бегемотъ и Левіаѳанъ, они немедленно вступаютъ въ бой. Самые сильные земли погибаютъ подъ рогами Бегемота, но будетъ время: Левіаѳанъ бросится на него, какъ неистовый, и побьетъ его своими плавниками. А тогда Создатель поразитъ и Левіаѳана великимъ мечомъ Своимъ и приготовитъ изъ него обѣдъ съ превосходнѣйшими кушаньями, и праведные будутъ насыщаться ими, сидя за столомъ изъ карбункула, на берегу рѣки арома-

товъ, и подкрѣпляя силы виномъ, которое было выжато еще при сотвореніи міра и съ тѣхъ самыхъ поръ сохраняется въ точилѣ для праведныхъ. Такъ говорятъ о Левіаѳанѣ и Бегемотѣ рабби Леви, и рабби Іегуда, и рабби Моше-баръ-Нахманъ, и Абарбанель, и Ибнъ Эзра, и Раши, и Маймонидъ, и Абрумъ бенъ Діоръ...

Но ангелъ улыбнулся и сказалъ:

— Это земныя сказки, другъ мой! Повѣрь мнѣ: въ раю нѣтъ никакихъ Левіаѳана и Бегемота. Неужели ты, мудрецъ, серьезно думалъ, что Богъ не имѣетъ лучшихъ средствъ наградить праведнаго, какъ угощая старою солониною и виномъ, которое отъ древности превратилось въ уксусъ? Позабудь о своихъ Левіаѳанѣ и Бегемотѣ, осмотрись вокругъ, какъ все здѣсь прекрасно, вкуси плодовъ и восхвали Господа, позволившаго тебѣ войти сюда.

Но праведникъ горько заплакалъ и возразилъ ангелу:

— Уведи меня отсюда! Я не хочу здѣсь оставаться!

— Въ своемъ ли ты умѣ?—сказалъ ангелъ,—еще никто съ начала міра не уходилъ отъ блаженства въ раю.

Но праведный рабби отвѣтилъ:

— Отъ блаженства въ раю и я не откажусь. Но это мѣсто, куда ты привелъ меня, не рай, потому что въ немъ нѣтъ Левіаѳана и Бегемота!

Ангелъ повторилъ:

— Левіаѳанъ и Бегемотъ не существуютъ.

Праведный сказалъ:

— Этого не можетъ быть.

— Но если я, ангелъ, тебѣ говорю?—воскликнулъ ангелъ.

— Не можетъ быть! Потому что въ теченіе многихъ тысячъ лѣтъ Господь обѣщалъ Своему народу и, когда мы голодали и жаждали на землѣ, то терпѣли голодъ и жажду, крѣпясь въ вѣрѣ и исполняя законъ, съ надеждою, что Господь наградитъ насъ, давъ намъ вкусить отъ Бегемота и Левіаѳана.

— Послушай!—сказалъ ангелъ.—Клянусь тебѣ, что эти плоды гораздо вкуснѣе какой-то соленой рыбы, которую ты называешь Левіаѳаномъ, и медъ, истекающій изъ райскихъ деревъ, несравненно слаще уксуса, котораго ты жаждешь для питья. И подумай: какимъ бѣднякомъ показался бы желанный тобою столъ изъ карбункула въ странѣ, гдѣ даже земля сверкаетъ, какъ брилліантъ въ золотой оправѣ?

— А что мнѣ въ томъ?—возразилъ праведный рабби.—Развѣ я искалъ рая для брилліантовъ и вкусной пищи? Пусть мясо Левіаѳана будетъ жестко, какъ голенище сапога, но Господь обѣщалъ мнѣ мясо Левіаѳана, живущаго въ раю, я вѣрилъ и уповалъ, что получу мясо Левіаѳана,—и я долженъ имѣть свое мясо Левіаѳана! Пусть вино, сберегаемое съ сотворенія міра, обожжетъ горло мое, какъ растопленный свинецъ,—но мнѣ обѣщано вино съ сотворенія міра, я вѣрилъ и уповалъ, что буду его пить,—и я долженъ пить свое вино съ сотворенія міра! Я долженъ найти въ раю все, что мнѣ обѣщано и во что я вѣрилъ. А иначе—это не рай! Рай тамъ, гдѣ исполняется все, на что человѣкъ надѣялся и во что онъ вѣрилъ. Нѣтъ исполненія,—нѣтъ и блаженства! Лучшее—не то, что дается человѣку по милости къ нему, но то, что онъ заслужилъ и имѣетъ получить въ своемъ правѣ. Вкушая ароматнѣйшіе плоды, я буду тосковать по соленой рыбѣ Левіаѳанъ, потому что она моя, а мнѣ не дали ѣсть ея! Упиваясь сладостнѣйшимъ медомъ, я буду жаждать уксуса, потому что онъ мой, а мнѣ не дали пить его! Ходя по землѣ изъ брилліантовъ, я буду плакать, что не сижу за столомъ изъ карбункула, потому что онъ мой, а меня лишили его! Пусть это мѣсто—рай, но я не въ этотъ рай вѣрилъ и не къ этому раю шелъ! Пусти же меня выйти изъ него: я не хочу быть въ чужомъ раю! Или покажи мнѣ, гдѣ мой рай, или отведи меня въ адъ!

Когда ангелъ выслушалъ слова праведнаго, онъ просіялъ веселіемъ и сказалъ:

— Правъ ты, рабби, что такъ твердо вѣрилъ въ обѣты, данные Господомъ Израилю! Успокойся: то было послѣднее испытаніе тебѣ, достойна-ли рая твоя крѣпкая вѣра. А теперь вотъ пойдемъ и въ самый рай! Войди и убѣдись, что не обманываетъ Господь праведныхъ своихъ и, во что кто изъ нихъ вѣрилъ, то самое рай ихъ и открываетъ имъ!

И, когда вошелъ праведный человѣкъ въ рай, онъ увидѣлъ все, во что вѣрилъ: и Левіаѳана, играющаго съ Богомъ въ третью часть дня, и Бегемота, пожирающаго траву съ тысячи горъ, и точило вина Господня, и столъ изъ карбункула, и рѣку Самбатіонъ, что течетъ шесть дней въ недѣлю, но отдыхаетъ въ седьмой — субботній, и кроткую Субботу, которая вымолила Адама отъ суда и смерти и пѣніемъ своимъ укрощаетъ гнѣвъ Создателя всѣхъ...

— Поняли, молодой человѣкъ?

— Понялъ, ребъ Нухимъ.

Онъ всталъ, длинный, сгорбленный, съ трясущеюся бородою, и ударилъ себя въ узкую впалую грудь обѣими руками, тощими и въ синихъ жилахъ

— Рай—тамъ, гдѣ исполняется вѣра! Пусть онѣ себѣ лежатъ въ землѣ, ваши жирафы! Что мнѣ Уганейда, когда я ищу Сіонъ? Развѣ Африка—Ханаанъ? Развѣ Уганейда—Іерусалимъ? Если одинъ такой Герцль имѣетъ силу собрать Израиль въ Сіонѣ, я его—человѣкъ. Если у Герцля нѣтъ силы для Сіона, я скажу ему: «Господинъ докторъ Герцль! сдѣлайте мнѣ, прошу васъ, милость, оставляйте стараго Нухима въ покоѣ починять часы въ Вологдѣ!..»

Онъ дружески распрощался со мною и вышелъ, бормоча себѣ подъ носъ:

*

— Имъ ишкохахо Іерушолоимъ тышкахъ емыны...

Если я забуду тебя, Іерусалимъ,
Да будетъ забыта десница моя!
Да прилипнетъ языкъ мой къ гортани,
Если я откажусь отъ памяти твоей,
Если я не поставлю тебя, Іерусалимъ,
Въ вершину всѣхъ радостей моихъ!..

Я сидѣлъ одинъ и думалъ:

— Не замѣнить Уганейдѣ Сіона: не расцвѣсти раю тамъ, гдѣ увядаетъ идеалъ!..

Мееръ Львовичъ.

(О сіонизмѣ).

— Скажите мнѣ, любезнѣйшій Мееръ Львовичъ: вы — сіонистъ или нѣтъ?

Мееръ Львовичъ положилъ на конторку пестикъ, которымъ онъ растиралъ какую-то пахучую мазь въ фарфоровой ступкѣ, пристально посмотрѣлъ на меня сквозь pince-nez близорукими, выпученными глазами и отвѣтилъ:

— Конечно, сіонистъ. Развѣ бываютъ евреи — не сіонисты?

— Я слыхалъ, будто ихъ даже много.

— Вамъ сказали неправду. Евреевъ не-сіонистовъ не существуетъ и не можетъ быть на свѣтѣ. Развѣ — выкресты. Каждый еврей обязанъ помнить и чтить въ Сіонѣ свою духовную родину. Каждый еврей твердитъ про себя могущественный и трогательный псаломъ: «Имъ эшкохахо Іерушолоймъ».—«Если я забуду тебя, Іерусалимъ, да будетъ забыта десница моя!» Каждый еврей оплакиваетъ гибель Сіона и проклинаетъ память Тита Негоднаго, Адріана и прочихъ разорителей. Каждый еврей твердо уповаетъ, что найдутся десять исчезнувшихъ колѣнъ израильскихъ и разсѣянное вновь будетъ собрано воедино. Каждый еврей, встрѣчая новый годъ, желаетъ своимъ

домашнимъ: дай Богъ слѣдующій годъ встрѣтить въ Іерусалимѣ!

— Ну, да. Все это я знаю. Но я не о томъ васъ спрашиваю. Я интересуюсь вашимъ отношеніемъ не къ вѣчному сіоническому идеалу разсѣяннаго еврейства, но къ современному практическому движенію, во главѣ котораго стоятъ Нордау и Герцль.

Мееръ Львовичъ помолчалъ, пожевалъ губами, поморгалъ глазами, потомъ сказалъ:

— Этимъ сіонистамъ я очень симпатизирую, всѣмъ сердцемъ желаю успѣха, но и всѣмъ сердцемъ предчувствую, что успѣха не будетъ.

— Почему, Мееръ Львовичъ?—удивился я.—Движеніе растетъ такъ широко, прогрессируетъ съ каждымъ годомъ...

Онъ пожалъ плечами и возразилъ:

— Я нахожу, что въ немъ мало энтузіазма.

— Мало энтузіазма?!

— Да. А у насъ, евреевъ, энтузіазмъ—все.

— Но, Мееръ Львовичъ! Я не знаю, какого еще энтузіазма вамъ надо? Въ теченіе цѣлаго мѣсяца я слѣдилъ за ходомъ базельскаго конгресса сіонистовъ по отчетамъ южныхъ газетъ и вынесъ впечатлѣніе цѣлой бури энтузіазма, а вамъ его, оказывается, мало.

— Мало,—холодно сказалъ Мееръ Львовичъ.—Повѣрьте: я читалъ подробнѣе и внимательнѣе, чѣмъ вы, и, ужъ разумѣется, въ тысячу разъ болѣе страстно и участливо: вы — русскій, я—еврей, вамъ сіонизмъ—чужое движеніе, на которое любопытно взглянуть со стороны, мнѣ — родное, кровное дѣло. Мало, мало энтузіазма! Внѣшнее возбужденіе толпы, хотя бы и самой интеллигентной, не слѣдуетъ смѣшивать съ духовнымъ энтузіазмомъ. Мы, евреи,—народъ нервный и шумный; темпераментъ—наша сила; жесты и повышенный тонъ—наша слабость. Если смотрѣть такъ, вчужѣ, то и толпа вилен-

скаго или минскаго базара покажется незнающему человѣку охваченною энтузіазмомъ. А на самомъ-то дѣлѣ, просто люди торгъ ведутъ и спорятъ за гроши... Нѣтъ, мало энтузіазма! Да и неоткуда ему быть.

— Какъ? Вы находите недостаточно возбуждающею идею самостоятельнаго еврейскаго государства?!

Онъ не далъ мнѣ докончить вопроса и язвительно спросилъ самъ:

— Въ Угандѣ? На Синайскомъ полуостровѣ?

Я сказалъ:

— Да, покуда, если не даютъ вамъ мѣста въ Палестинѣ, то хотя бы и въ Угандѣ!

Онъ отвѣчалъ:

— Я—не слѣпой фанатикъ, способенъ разсуждать и убѣждаться, не принадлежу къ предубѣжденнымъ противникамъ «Уганейды», къ принципіальнымъ «нейнзагерамъ», какъ называли ихъ на конгрессѣ, и, говоря за себя лично, нахожу дѣло съ Угандою очень полезнымъ политическимъ предпріятіемъ. Но въ успѣхъ его мало вѣрю. Потому что, если разсуждать вотъ такъ, какъ мы сейчасъ съ вами,—спокойно и холодно, то Уганда чрезвычайно соблазнительна. Но ударить ею по сердечнымъ струнамъ народа, вызвать ею общееврейскій энтузіазмъ—немыслимо: нѣтъ въ ней національно зажигающихъ символовъ и элементовъ. А политическое предпріятіе, не поддержанное энтузіазмомъ народа, — мертворожденный младенецъ. Ничего не выйдетъ изъ этой-ли Уганды, изъ другой ли, какую сыщутъ ходоки сіонистовъ, въ томъ смыслѣ, какъ надѣются Герцль и Нордау. Самое большее, что явится новый обширный центръ еврейской колонизаціи, куда временно хлынутъ наши юго-западные эмигранты изъ черты осѣдлости—только и всего. Конечно, спасибо и за то, огромное спасибо, но... при чемъ же тутъ сіонизмъ? Не понимаю! Господинъ Нордау рекомендуетъ намъ смотрѣть на Уганду, какъ на

«ночное становище», Nachtasyl, по дорогѣ къ Сіону. Nachtasyl! Вмѣсто сіонскаго идеала—Nachtasyl! Но что же лестнаго для народа въ Nachtasyl? Вѣдь Nachtasyl,—сыгралъ Мееръ Львовичъ словами,—это «ночлежка». Вонъ въ Берлинѣ «На днѣ» Максима Горькаго идетъ подъ названіемъ Nachtasyl! Согласитесь, что трудно возбудить народный энтузіазмъ, предлагая покинуть насиженныя гнѣзда для перекочевки въ ночлежку!

— Послушайте, Мееръ Львовичъ. Вѣдь евреи сами немножко виноваты, что имъ приходится довольствоваться ночлежкою вмѣсто дома. По словамъ Герцля, была возможность получить отъ султана бератъ на область въ Палестинѣ за полтора милліона англійскихъ фунтовъ, но національная подписка достигла всего лишь восьмидесяти тысячъ фунтовъ.

Мееръ Львовичъ кивнулъ головою.

— Знаю. Вотъ видите, это именно то, что я говорю: мало энтузіазма.

— Но откуда же, наконецъ,—спросилъ я съ недоумѣніемъ,—возникаетъ такая странная убыль энтузіазма какъ разъ въ то время, когда, казалось бы, ему, наоборотъ, надо расти? Вѣдь, какъ ни спорить съ сіонистами, но необходимо и пора сознаться: благодаря имъ, сіоническій идеалъ, къ которому стремится вашъ народъ, впервые за всѣ вѣка разсѣянія, приближается къ осуществленію.

— Оттуда,—протяжно возразилъ Мееръ Львовичъ,—что народъ еврейскій, ославленный среди васъ, христіанъ, грубымъ матеріалистомъ, въ сокровенныхъ глубинахъ души своей есть величайшій идеалистъ въ мірѣ. И, когда рѣчь идетъ о высшихъ его идеалахъ, онъ страшно подозрителенъ. Сіонъ—святая святыхъ нашихъ надеждъ... Вспомните, что входъ въ святая святыхъ законъ дозволяетъ только одному первосвященнику только однажды въ годъ. Вспомните, что, дабы избрать достой-

наго первосвященника, надо было совершиться чуду и расцвѣсти Ааронову жезлу. Ну, вотъ народъ и ожидаетъ чуда и цвѣтовъ на жезлѣ первосвященника. А согласитесь, что, при всемъ уваженіи къ Герцлю и Нордау, евреямъ трудно уподобить ихъ двумъ братьямъ, которые нѣкогда вывели нашихъ предковъ изъ Египта.

— Вы, какъ я замѣчаю, не высокаго мнѣнія о Герцлѣ и Нордау?

— Напротивъ, огромнаго! Я благоговѣю предъ этими людьми. Но они, какъ и я, вашъ покорный слуга, какъ и большинство еврейской интеллигенціи, стоятъ на разныхъ съ народомъ точкахъ зрѣнія и говорятъ на разныхъ языкахъ. Они—слишкомъ европейцы, слишкомъ люди западной культуры и ея логики. Обратите вниманіе на ихъ діалектику. Они практичны, логичны, доказательны. Но для стремленія къ сіоническому идеалу еврейской массѣ и не нужно логики и доказательствъ: она и безъ того считаетъ все въ немъ аксіомою, не подлежащею спору. Это — еврей-интеллигентъ, еврей-скептикъ долженъ убѣждать себя, что Сіонъ—не утопія. Массѣ же нужны не доказательства, но откровеніе и вѣра. Силы доказательствъ, чтобы пріобрѣсти территорію для сіонскаго царства, едва хватило на жалкую подписку въ восемьдесятъ тысячъ фунтовъ. Сила вѣры и откровенія заставила бы хлынуть милліоны.

— Гм...—сказалъ я.

Мееръ Львовичъ уловилъ въ голосѣ моемъ ноту сомнѣнія и спросилъ меня:

— Знаете ли вы, что въ хронологіи еврейскаго народа называется «годомъ летанія», Aom-el Tajarân?

— Нѣтъ, не помню.

— Быть можетъ, вамъ знакомо имя Алруи?

— Кажется, я просматривалъ когда-то романъ Дизраэли подъ этимъ названіемъ?

— Да, Дизраэли написалъ о немъ романъ. Дувидъ

Ибнъ Алрухи, или Алруи, или еще иначе Менахемъ бенъ Соломонъ, былъ еврейскій ученый и рыцарь двѣнадцатаго вѣка и происходилъ изъ Адербейджана. Будучи человѣкомъ необычайно образованнымъ и честолюбивымъ, пламеннымъ патріотомъ и ревнителемъ закона, притомъ же красавецъ собою, онъ хотѣлъ воспользоваться неурядицами въ багдадскомъ халифатѣ, чтобы освободить еврейскій народъ изъ-подъ мусульманскаго ига. Онъ овладѣлъ мощною крѣпостью Амадіей и объявилъ себя Мессіей, царемъ Израиля. Дѣятельность его была непродолжительна: подъ угрозами мусульманъ, закупленный амадійскимъ комендантомъ, тесть Алруи умертвилъ своего героя-зятя, когда тотъ спалъ... Секта Алруи долго существовала потомъ и воевала съ мусульманами. Но дѣло не въ самомъ Алруи.

Однажды въ Багдадъ явились невѣдомые люди— будто бы послы отъ Алруи изъ Амадіи. Они предъявили еврейской общинѣ манифестъ Мессіи-Алруи, что вотъ въ такую-то ночь Израиль будетъ освобожденъ и возрожденъ къ самостоятельному существованію, полному еще невѣдомаго, небеснаго блаженства.

— Вручите все ваше имущество посламъ моимъ,— писалъ пророкъ,—да раздадутъ они золото, утварь и платье бѣднымъ. Вамъ же теперь, въ царствѣ праведныхъ, ничего вещественнаго болѣе не нужно. Одѣньтесь въ зеленыя одежды, войдите съ сумерками на крыши вашихъ домовъ и ждите: ночью, когда наступитъ урочный часъ, я перенесу васъ по воздуху изъ Багдада въ Іерусалимъ, и начнется царство моей славы.

И никто изъ евреевъ Багдада не усомнился. Они разорили себя до тла, продавъ свое имущество за безцѣнокъ, отдали деньги двумъ посламъ Алруи и, въ назначенную ночь, надѣли зеленыя одежды, взошли на плоскія кровли своихъ домовъ и ждали обѣщаннаго полета. То была тревожная ночь, полная молитвъ и

гимновъ, женскаго плача, крика дѣтей... Никакого полета не совершилось, а тѣ фанатики, которые пробовали летать, попадали съ своихъ вышекъ и искалѣчили себя, либо разбились на смерть. Разсвѣло. Обманутый народъ со стыдомъ понялъ свое безуміе... Двухъ плутовъ, конечно, и слѣдъ простылъ. Нечего и говорить, что никогда Алруи не отправлялъ пословъ въ Багдадъ и не писалъ подложнаго манифеста. Все было обманъ и мошенничество. Багдадцы ведутъ отъ этого страшнаго разочарованія эру своего лѣтосчисленія и называютъ ее «годомъ летанія»...

Мееръ Львовичъ умолкъ и задумался.

— Вы хотите намекнуть,—сказалъ я,—что евреи такъ жестоко проучены историческими разочарованіями сіонизма въ прошломъ, что не очень-то довѣрчиво смотрятъ на вождей и перспективы его въ настоящемъ? Боятся, что опять повторится багдадская ночь летанія?

— Нѣтъ,—возразилъ Мееръ Львовичъ,—если такіе скептики и имѣются въ еврействѣ, то число ихъ невелико и не имѣетъ вліянія. Мы вѣримъ, что главы сіонистическаго движенія—искренніе энтузіасты, честные и идейные люди. Я разсказалъ вамъ исторію Алруи только затѣмъ, чтобы дать понятіе, какъ легко, съ какою силою и до какого самоотверженія можно увлечь Израиль даже самымъ голословнымъ и фантастическимъ кличемъ въ Сіонъ, при одномъ условіи... .

— А именно?

Мееръ Львовичъ усмѣхнулся и сказалъ:

— Давида Алруи, Менахема бенъ Соломона почитали Мессіей.

— Да, это, дѣйствительно, совсѣмъ особое условіе.

Мееръ Львовичъ продолжалъ вдумчиво и съ вдохновеніемъ:

— Сіоническій идеалъ и мессіоническая надежда—нераздѣлимы въ народѣ. Ахиллесова пята нашего сіо-

низма—въ томъ, что прекрасные, умные, патріотическіе руководители его не въ состояніи предложить еврейскому народу мессіонической надежды. Они сами ея не имѣютъ, и народъ это чувствуетъ и знаетъ, что не имѣютъ. Мы, евреи-интеллигенты, для него—«апикорейсы», т. е. эпикурейцы, маловѣры, и онъ не вѣритъ, чтобы Сіонъ достался ему волею и усиліями апикорейсовъ... И трудно бороться съ этимъ предубѣжденіемъ. Потому что, еще разъ говорю вамъ: Сіонъ для еврейства—духовная надежда, ради которой онъ готовъ бросить всѣ матеріальныя блага, забыть всѣ житейскія соображенія. Но въ вожди и знаменосцы сіонической идеи онъ ищетъ строгихъ рыцарей еврейскаго духа и закона. Понимаете? Это—особенное, чего, не бывъ евреемъ, нельзя восчувствовать и оцѣнить въ полной мѣрѣ. Вы вотъ удивляетесь, почему мы не очень радостно встрѣтили мысль объ Угандѣ, а на конгрессѣ люди падали въ обморокъ, взрослые люди,—черствые банкиры, кремни-дѣльцы,—заливались слезами или приходили въ бѣшеное негодованіе отъ одной лишь мысли: какъ и зачѣмъ имъ, евреямъ, смѣютъ предлагать какую то Уганду, когда наше законное упованіе—Сіонъ?.. Въ томъ-то и дѣло, что духовный смыслъ сіонизма удивительно трудно и туго размѣнивается на матеріальные компромиссы. А, само собою разумѣется, что же, кромѣ матеріальныхъ компромиссовъ, могутъ предложить передовые люди европейской культуры, мыслители-позитивисты, каковы Герцль и Нордау, Іоськѣ изъ Смѣлы и Шмулю изъ Умани? Мы несравненно богаче Іоськи и Шмуля знаніемъ, они безконечно богаче насъ вѣрою. И вотъ наше знаніе идетъ на компромиссы, а Іоськина вѣра не идетъ. И вѣра здѣсь—все. Чтобы вѣрили, что ты—носитель идеала, надо, прежде всего, чтобы ты самъ вѣрилъ въ идеалъ.

Я улыбнулся.

— А самозванецъ Алруи?

— Ну-съ?

— Что же онъ, достигшій въ еврействѣ такой слѣпой вѣры къ своему мессіаническому могуществу, что люди жертвовали по одному его слову всѣмъ своимъ достаткомъи собирались летѣть по воздуху больше тысячи верстъ, что же онъ, по вашему, самъ тоже вѣрилъ, будто онъ—Мессія?

Мееръ Львовичъ спокойно возразилъ:

— Объ Алруи не знаю, вѣрилъ ли. Думаю, что вѣрилъ. Но въ двѣнадцатомъ же вѣкѣ въ Іеменѣ явился лже-Мессія, который настолько вѣрилъ въ себя, что самъ потребовалъ, чтобы ему отрубили голову, да явитъ онъ силу свою и воскреснетъ. Арабовъ не надо было долго упрашивать: голова бѣдняги слетѣла съ плечъ, и онъ не воскресъ, что не помѣшало сохраниться его сектѣ. Вотъ это вѣра! Это можетъ вызвать и вести за собою народный энтузіазмъ. Другой лже-Мессія, каббалистъ Авраамъ баръ Самуилъ-Абулафія, скитался, какъ донъ-Кихотъ, по земному шару, въ надеждѣ найти блаженную талмудическую рѣку Самбатіонъ, которая не течетъ по субботамъ, и пересадить на ея берега всѣхъ евреевъ. Это—тоже вѣра. И онъ имѣлъ ярыхъ энтузіастовъ! Когда онъ назначилъ на 1290 годъ возвращеніе Израиля въ Іерусалимъ, сицилійскіе евреи чуть-чуть было не повторили исторіи багдадскаго полета...

— Я не думаю—сказалъ я,—чтобы Герцль и Нордау пожертвовали за Уганду своими головами. Да оно и жаль было бы двухъ умныхъ и талантливыхъ головъ. Что же касается рѣки Самбатіонъ, то, можетъ быть, она течетъ именно въ Угандѣ?

Мееръ Львовичъ улыбнулся хитро и печально.

— Въ Угандѣ она не течетъ и едва ли намѣрена течь. Но въ Аргентинѣ и Бразиліи въ свое время текла. И я самъ слышалъ лѣтъ пятнадцать тому назадъ въ литовской корчмѣ, какъ ловкій факторъ эмиграціи подманивалъ на кисельные берега Самбатіона робкихъ и темныхъ фанатиковъ Іосекъ. Теперь американскіе Самбатіоны изсякли, потому что въ Аргентинѣ и Бразиліи не нужна больше

еврейская иммиграція. Нѣтъ, слава Богу, это прошедшія времена. Нѣтъ, сіонизмъ работаетъ безъ шарлатанства. Скорѣе онъ—ужъ слишкомъ остороженъ, слишкомъ часто льетъ холодную воду на горячія головы. Онъ щепетильно избѣгаетъ впушать иллюзіи несбыточныхъ благъ, чтобы, вмѣстѣ съ иллюзіями, не приготовлять матеріала для разочарованій. Но тѣмъ труднѣе его тяжелая національная работа! Юдофобскія газеты, издѣваясь надъ Герцлемъ, зовутъ его будущимъ еврейскимъ королемъ. Не завидую я его королевству. Вспомните, что онъ самъ сказалъ о своихъ отношеніяхъ къ сіонистамъ:

— Я далъ имъ Уганду,—они чуть не побили меня камнями. Когда я дамъ имъ Сіонъ, они разорвутъ меня въ куски.

Страшная это отвѣтственность и задача — помирить отвлеченный и инстинктивный народный идеалъ съ сознательно сотворяемымъ для народа кумиромъ. Мудрено, мучительно тяжко человѣку положительнаго знанія стоять во главѣ движенія, вдохновляемаго умозрительнымъ, символическимъ исповѣданіемъ. Нельзя завидовать ученому политику, который взявъ въ руки географическую карту, чтобы показать своимъ соплеменникамъ будущія границы ихъ автономіи, ежеминутно рискуетъ слышать истерическіе вопли своихъ:

— Эпикуреецъ! Обманщикъ! Предатель Сіона! Гдѣ же на этой картѣ рѣка Самбатіонъ? Не хотимъ Уганды! Мы должны жить на рѣкѣ Самбатіонѣ,—подай намъ Самбатіонъ!

Какъ они это приняли.

(Письмо военнаго трибуна).

Люцій Гиппикъ Матернъ Публію Аппицію Грату — радоваться.

Въ то время, какъ ты, любезный Гратъ, весело совершивъ утренніе визиты, измѣряешь длинными шагами форумъ, безпечно гуляешь по Священной улицѣ или поджидаешь любовницу въ назначенномъ запискою мѣстѣ, за какимъ-либо монументомъ Марсова поля; или сильный прислужникъ въ новыхъ баняхъ Агриппы третъ твою благородную спину намыленнымъ пузыремъ; или въ товариществѣ съ веселымъ Юломъ Антоніемъ и съ безпутнѣйшимъ, но милѣйшимъ Назономъ, возлежишь въ трактирѣ Вепря и, потягивая пятидесятилѣтній цекубъ, бросаешь кости на жребій, къ какой красоткѣ у Мильвіева моста отправитесь вы сегодня послѣ ужина, переодѣтые матросами или рабами;—въ то время я, злополучнѣйшій трибунъ, загнанный службою на крайніе предѣлы земли, одиноко отбываю дежурство въ караульной нашего іерусалимскаго посольскаго подворья и пишу тебѣ это письмо, въ надеждѣ избыть имъ хандру, грызущую мою душу. Ибо тоска сильно позываетъ меня — вынуть свой мечъ изъ ноженъ и, укрѣпивъ рукоятку ремнями къ стулу,

броситься грудью на остріе, — оно же, кстати, превосходно отточено, потому что во вчерашнемъ приказѣ легатъ еще разъ подтвердилъ намъ имѣть оружіе въ боевомъ порядкѣ и быть наготовѣ къ тревогѣ во всякое время. Народная перепись, которую производитъ нашъ Квириній, взволновала умы въ іудейскихъ трущобахъ и держитъ страну въ напряженномъ возбужденіи, Іудеи увѣряютъ, будто мы, римляне, не имѣемъ никакого права ихъ переписывать, такъ какъ они-де не подданные и не вассалы наши, но только союзники, отдавшіе себя подъ протекторатъ священнаго имени цезарева, сената и народа римскаго. Есть-де у нихъ свой царекъ и свои власти, коимъ бы и производить перепись, по нуждѣ въ ней, а, что переписываютъ іудеевъ иноземцы, то дѣло неслыханное, угроза порабощенія,—вноситъ нечестіе, сулитъ несчастія и оскверняетъ страну. Клянусь Геркулесомъ, Гратъ,—эти невѣжды и атеисты эти ненавистники свиного мяса и обожатели ослиной головы, въ самомъ дѣлѣ, смотрятъ здѣсь на насъ, римлянъ, и согласныхъ съ нами, цивилизованныхъ и порядочныхъ людей въ Александріи, Сиріи и Эллады, какъ на какую-то нечисть, способную опоганить іудея уже однимъ къ нему прикосновеніемъ.

Я не слишкомъ бы горевалъ, если бы оскорбительнаго предразсудка держались только іудеи мужчины, такъ какъ между ихъ народомъ и нашею расою живетъ давняя антипатія, и признаюсь откровенно, какъ честный римскій воинъ, чтущій капитолійскаго бога и имя цезарево, что даже самаго лучшаго изъ нихъ я въ состояніи любить, лишь покуда онъ отсчитываетъ мнѣ деньги подъ заемное письмо. Но,—о, я несчастнѣйшій смертный!—въ томъ же пагубномъ заблужденіи, отвращающемъ умы и сердца отъ иноземцевъ, погрязли и прекрасныя здѣшнія женщины. Живя въ Іудеѣ вотъ уже цѣлый годъ, я, молодой офицеръ, котораго наружность, образованіе и маперы находила пріятными сама свѣтлѣйшая домина Юлія, я, вос-

питанный греческимъ педагогомъ, котораго отецъ мой лишь по случаю, на дешевой распродажѣ послѣ рѣзни въ Перузіи, купилъ за двѣсти тысячъ сестерцій, я, знающій наизусть всѣ веселые стихи Назона и милетскія сказки, — я до сихъ поръ не успѣлъ завязать здѣсь ни одной любовной интриги. Такъ что, дабы не вовсе позабыть, какой милый звѣрь называется женщиною, я долженъ брать отпускъ или навязываться въ командировки въ Кесарію Себасту, гдѣ дамы греческаго общества и сирійскія негоціантки прекрасны не менѣе дочерей Іерусалима, да еще имѣютъ то преимущество, что не экзаменуютъ своихъ любовниковъ въ законѣ и добродѣтели по книгамъ Моисея, писаннымъ страннѣйшими буквами отъ правой руки къ лѣвой, которыхъ, клянусь моимъ Геніемъ, не прочиталъ бы даже всеученый Варронъ. Досаднѣе всего, что прекрасныя іудейки, столь цѣломудренныя и суровыя предъ нами, иностранцами, говорятъ, увлекательны въ своемъ кругу; въ томъ увѣряетъ насъ Юстъ Нимфидій, извѣстный тебѣ вольноотпущенникъ и любимецъ Квиринія, всемогущій здѣсь нынѣ его секретарь. Какъ спутникъ, слуга и кліентъ римскаго проконсула, онъ свой человѣкъ въ нашемъ обществѣ, а, будучи природнымъ александрійскимъ евреемъ, вхожъ въ тѣ немногіе іудейскіе дома, гдѣ не слишкомъ сурово смотрятъ на подобныхъ ему эпикурейцевъ,—потому что здѣсь принято называть эллинами не только эллиновъ родомъ, но и принявшихъ обычай эллинскій, и ненавидятъ ихъ столько же, если не больше, какъ эллиновъ по рожденію. Намъ Юстъ хвалится побѣдами надъ іудейскими дамами, а іудеямъ, вѣроятно, клевещетъ на нашихъ, греческихъ и сирійскихъ. Я читалъ греческіе стихи, посланные имъ одной изъ его іерусалимскихъ поклонницъ. Клянусь Юпитеромъ каменнымъ! Человѣкъ нашего круга скорѣе отрубитъ себѣ руку, чѣмъ рѣшится морочить женщину подобными нелѣпостями. Онъ увѣрялъ красавицу, что ея голова—величиною съ гору Кармелъ,

а носъ похожъ на башню, обращенную къ Дамаску; очень странно выражался о ея животѣ и называлъ ее «кобылицею, запряженною въ колесницу египетскаго царя». За каждый изъ этихъ комплиментовъ наша бѣлокурая плутовка Лезбія разбила бы о мою голову не только зеркало, но даже урну съ прахомъ котораго-нибудь изъ умершихъ своихъ любовниковъ. На удивленіе мое, Юстъ, смѣясь, возразилъ. «Если бы ты, Матернъ, слышалъ, что мы говоримъ на свиданіяхъ, то зналъ бы, что она сама величаетъ мои довольно кривыя и тощія икры мраморными столбами, поставленными на золотыхъ подножіяхъ, а подслѣпые глаза—голубями при потокахъ водъ, купающимися въ молокѣ». Сообщаю тебѣ эти странныя метафоры, имѣя въ виду, главнымъ образомъ, Юла Антонія, какъ живущаго не безъ слабости марать стихи: что касается изящнѣйшаго Назона, онъ, вѣроятно, только посмѣется ихъ варварской изысканности.

При множествѣ недостатковъ Юста Нимфидія, человѣка двусмысленнаго, онъ добрый и веселый товарищъ и, хотя, играя съ нимъ въ кости, я непремѣнно требую, чтобы за него бросалъ ихъ дежурный центуріонъ, однако, я къ нему привыкъ и очень жалѣю, что сейчасъ его нѣтъ со мною: Квириній отправилъ его въ Галилею для разслѣдованія безпорядковъ, вызванныхъ переписью и принявшихъ широкіе размѣры. О Галилеянахъ говорятъ, какъ о людяхъ отчаянныхъ и свирѣпыхъ. Царь Иродъ дѣйствуетъ противъ нихъ въ совершенномъ согласіи съ нами, ненавидя ихъ за то, что они распустили несносные для него слухи.

Этотъ Иродъ—человѣкъ уже старый и дряхлый: мнѣ трудно писать о немъ безъ улыбки, хотя онъ здѣсь предметъ всеобщаго ужаса и отвращенія. Это старый убійца и разбойникъ, ошибкою одѣтый въ порфиру вмѣсто смоляной рубахи, которую онъ заслужилъ по всей справедливости, зарѣзавъ нѣсколько человѣкъ изъ ближайшей своей

родни и въ томъ числѣ супругу свою, очень благородную и гордую женщину изъ древняго царскаго рода. Его всѣ ненавидятъ, и онъ всѣхъ ненавидитъ. Ненавидитъ Иродъ, конечно, и насъ, но ему слишкомъ хорошо извѣстно, что, безъ поддержки нашего оружія и нашей дипломатіи, онъ—совершенное ничтожество въ своемъ государствѣ, и что въ день, когда близъ Ирода не будутъ сіять римскіе мечъ и тога, іудеи съ радостью выбросятъ его трупъ на навозную кучу, какъ это принято здѣсь при государственныхъ переворотахъ. Онъ низкаго происхожденія, и не настоящій іудей, но обрѣзанный арабъ или кто-то въ томъ же грязномъ родѣ; по словамъ Нимфидія, даже іудейская рѣчь Ирода не чиста и звучитъ иностраннымъ акцентомъ. Въ этомъ я не судья, но по-гречески Иродъ говоритъ, дѣйствительно, очень забавно, а такъ какъ онъ любитъ выставлять на видъ свою свѣтскость и образованіе, то языкъ его неистощимъ въ искаженіи сладкой рѣчи Платона и Карнеада. Вообще, онъ старается играть роль эллиниста, поскольку то дозволяетъ религія его подданныхъ, такъ что, хотя въ Іерусалимѣ онъ весьма стѣсненъ, но на окраинахъ государства дерзнулъ даже учредить въ новыхъ городахъ нѣсколько греческихъ колоній, съ попытками придать имъ видъ и характеръ нѣкоторой культуры, съ намеками на бытъ и жизнь, достойныя порядочныхъ людей. Тамъ учреждаются храмы боговъ и государева имени, театры и ристалища, совершаются праздничныя игры, травля звѣрей, бѣга и скачки. Ничего подобнаго не видимъ мы въ Іерусалимѣ: это городъ святынь и скуки. За эллинскія нововведенія іудеи еще болѣе ненавидятъ своего царька; онъ же, какъ мнѣ кажется, нововведеніямъ, которыя были бы прекрасны, если бы ихъ совершалъ государь разумный и человѣкъ умѣренный, предается не по любви къ нимъ, но только затѣмъ, чтобы, оставаясь безопаснымъ за нашими щитами, какъ можно ехиднѣе оскорблять и унижать свой фанатическій народъ. Ненависти къ Ироду не уменьшаетъ даже

щедрость, съ какою онъ, подкупая религіозное суевѣріе своихъ подданныхъ, строитъ великолѣпнѣйшій храмъ въ честь іудейскаго бога: зданіе обѣщаетъ быть прекраснымъ и перерастетъ лучшія базилики и портики Капитолія и Авентина, но, какъ видно, гранитныя и мраморныя заслуги не уничтожаютъ антипатій, созданныхъ жестокою рукою и необузданнымъ сердцемъ. Намъ, римлянамъ, взаимная ненависть іудейскаго народа и государя очень выгодна; оба врага, трепеща другъ друга, ищутъ въ насъ ручательства: царекъ — что подданные не взбунтуются; подданные — что царекъ не истощитъ ихъ своею безпричинною свирѣпостью до конца. Къ сожалѣнію, обуздывая жестокій нравъ Ирода отъ крупныхъ политическихъ безтактностей, мы, какъ я писалъ тебѣ уже выше, не препятствуемъ ему срывать ярость на членахъ собственной его фамиліи: онъ истребляетъ ее съ энергіей свирѣпѣйшаго азіата. Никогда еще не было человѣка, который, народивъ столькихъ дѣтей, проявилъ бы потомъ столько старанія остаться безъ потомства.

При всей политической малозначительности своего маленькаго государства, іудеи очень пылкіе патріоты: разсѣянные на двѣ трети числа своего внѣ предѣловъ отечества, они всегда памятуютъ объ Іерусалимѣ, въ какой бы части земного круга или шара (представляю тебѣ на выборъ ту изъ философскихъ гипотезъ на этотъ счетъ, которая больше нравится) они ни находились. Они вѣруютъ, что жалкое политическое состояніе ихъ временное и скоро прекратится, а въ будущемъ Богъ сдѣлаетъ ихъ владыками земли, потому что одни они въ цѣломъ свѣтѣ знаютъ и чтутъ истиннаго Бога. Это странное притязаніе они сохраняютъ съ незапамятныхъ временъ; въ сердцѣ каждаго іудея таится благоговѣйное ожиданіе нѣкоего героя, по имени Мессіи, котораго Богъ пошлетъ, какъ вождя, поднять іудеевъ изъ ихъ униженія и возвысить надъ всѣми народами. Въ послѣдніе годы ожиданіе напрягается съ осо-

бенною страстностью, потому что приближается къ концу срокъ, по истеченіи коего опредѣлили явиться Мессіи книги древнихъ философовъ. И вотъ, это суевѣріе волнуетъ теперь іудеевъ по всей странѣ ихъ, и одни говорятъ, что Мессія родится на-дняхъ, другіе—что онъ уже родился, но до возраста скрывается въ народѣ, а затѣмъ явится въ Іерусалимѣ, назоветъ себя царемъ, выгонитъ Ирода и римлянъ и будетъ царствовать на Сіонѣ тысячу лѣтъ. Какъ ты хорошо понимаешь подобныя надежды не могутъ звучать утѣшительно въ ушахъ человѣка, облеченнаго титуломъ іудейскаго царя и желающаго передать его своей династіи. Вотъ почему уже одно имя Мессіи заставляетъ Ирода дрожать отъ страха и бѣшенства, а такъ какъ у галилейскихъ мятежниковъ, возставшихъ противъ переписи, оно постоянно на устахъ, и даже между вождями ихъ народъ уже ищетъ избранника, пригоднаго для имени и роли Мессіи, то ненависть и озлобленіе Ирода противъ нихъ безпредѣльны. Квириній, чья насмѣшливость тебѣ хорошо знакома,—съ нею равняется только его же ненасытное взяточничество!—даетъ намъ, свитѣ веселыя представленія, заводя съ царемъ нарочные разговоры о Мессіи, о мѣстѣ и о времени, гдѣ и когда ему надлежитъ родиться, и разсчитываетъ ли Иродъ уступить ему свой престолъ. Трудно тогда свирѣпому арабу скрывать досаду, дрожащую въ голосѣ, сверкающую въ глазахъ, то блѣдностью, то румянцемъ пятнающую щеки. Забавная двусмысленность положенія Ирода въ этихъ бесѣдахъ тѣмъ острѣе, что, какъ слуга іудейскаго закона, онъ самъ втайнѣ увѣренъ въ скоромъ пришествіи своего сверхчеловѣческаго преемника, да если бы и не вѣрилъ, то не смѣетъ сознаться намъ вслухъ, въ присутствіи своихъ придворныхъ. Эти знатные господа и священники — совершенные невѣжды во всемъ иноземномъ, зато знаютъ свой религіозный законъ наизусть до послѣдней буквы и каждую ошибку или недомолвку царя, нечаян-

ную ли, умышленную ли, готовы немедленно обличить и поправить хоромъ во сто голосовъ. Люди кроткіе въ семейномъ быту и покладистые въ политикѣ, они непобѣдимо упрямы въ религіи и древнихъ обычаяхъ. Повѣришь ли ты, что наши когорты гостятъ на постоѣ въ Іерусалимѣ безъ своихъ побѣдныхъ знаменъ, потому что іудейская вѣра не дозволяетъ быть въ чертѣ святого города человѣкоподобнымъ изображеніямъ, и лики нашихъ цезарей подъ римскими орлами приводили фанатиковъ въ неистовство дикихъ звѣрей, способное разразиться общимъ возстаніемъ, въ которомъ пришлось бы убивать ихъ десятками тысячъ, что сейчасъ совсѣмъ не въ нашихъ разсчетахъ, такъ какъ Квириній имѣетъ отъ Августа предписаніе дѣйствовать мѣрами кротости.

На-дняхъ мы позабавились надъ Иродомъ, все по тому же поводу, за счетъ его же страховъ о Мессіи, на торжественномъ обѣдѣ, который онъ давалъ въ честь трехъ очень знатныхъ путешественниковъ — шейховъ изъ-за Евфрата, прибывшихъ въ Іерусалимъ на короткое время. Избавь меня называть ихъ варварскія имена: они не поддаются нашему алфавиту. Это почтенные, важные старики, какъ слышно, весьма свѣдущіе въ астрономіи и тайныхъ наукахъ. Младшій говоритъ по-гречески не хуже насъ съ тобою, старшіе два понимаютъ. Цѣль ихъ прибытія— астрономическія наблюденія надъ огромнѣйшею и ярчайшею звѣздою, которая и сейчасъ еще сіяетъ на нашемъ горизонтѣ: эти мудрецы—халдеи, или не знаю уже, къ какой народности ихъ отнести,—заранѣе высчитали появленіе звѣзды даже безъ помощи Птоломеевыхъ таблицъ. Говорятъ, что наука ихъ, идущая изъ древняго Вавилона, древнѣе и эллинской, и египетской науки, и будто халдеи уже имѣли философовъ, когда въ Египтѣ не было еще пирамидъ.

Въ народѣ о новой звѣздѣ много толковъ. Думаютъ, что она загорѣлась на встрѣчу грядущему Мессіи. А когда

распространилась молва, что ради таинственнаго свѣтила пріѣхали въ Іерусалимъ три ученые шейха, чернь заголосила, что Мессія уже родился и звѣзда для шейховъ — только предлогъ войти въ страну, находящуюся на военномъ положеніи, не вызывая къ подозрѣніямъ Ирода и насъ, римлянъ; дѣйствительное же намѣреніе ихъ, будто бы, поклониться новорожденному іудейскому царю и заключить съ нимъ союзъ. Можешь догадаться о настроеніи Ирода, когда ему пришлось чествовать гостей, прибывшихъ такъ некстати. Квириній, по обыкновенію, выдержалъ бѣднаго царька на непріятнѣйшихъ шпилькахъ въ теченіе всего пріема: разговоръ не отрывался отъ Мессіи и звѣздъ. Шейхи говорили мало, держались неподвижно, на ихъ лицахъ нельзя было прочитать ихъ мыслей. Въ ночь послѣ обѣда они выѣхали въ маленькій горный городокъ, по названію Виѳлеемъ, избранный ими для занятій. Это — гнѣздо въ пустынѣ, очень возвышенное, небо тамъ ясное, воздухъ чистъ и прозраченъ... У Ирода тамъ недурная и хорошо укрѣпленная вилла. Мой центуріонъ Цетъ конвоировалъ шейховъ до Виѳлеема, и я досадую, что не проводилъ ихъ самъ, потому что Цетъ возвратился съ очень цѣнными подарками.

Въ Виѳлеемѣ шейхи сейчасъ же попали въ свидѣтели одного изъ тѣхъ маленькихъ броженій, порождаемыхъ народными мечтаніями о Мессіи, которыя, какъ я уже говорилъ тебѣ, возникаютъ теперь повсемѣстно, — съ какою легкостью, ты можешь самъ судить по этому примѣру. Въ дни переписи Виѳлеемъ такъ переполнился пришлымъ народомъ, что многіе остались на ночь, безъ крова, спать подъ открытымъ небомъ, — въ числѣ этихъ безпріютныхъ, и одна бѣдная женщина изъ Галилеи, очень молодая, которой, вдобавокъ, подошло время разрѣшиться отъ бремени. Не найдя свободнаго помѣщенія ни на одномъ постояломъ дворѣ, она и мужъ ея, человѣкъ старый, заночевали подъ городомъ, въ загонѣ для скота и, когда

пастухи пришли задать животнымъ корма,—въ ясляхъ, на сѣнѣ и ячменѣ лежалъ младенецъ, и мать склонилась надъ нимъ, охраняя его сонъ, и быкъ съ осломъ тянули къ нему морды, обдавая его тепломъ своего дыханія. Неожиданное и необычное зрѣлище величественнаго старика, прекрасной матери и младенца, спящаго среди животныхъ, зерна и соломы, поразило пастуховъ, какъ божественное видѣніе; они вспомнили толки въ народѣ о Мессіи и спрашивали одинъ другого: не Мессія ли это родился? Когда же, въ разговорахъ, узналось, что странники, хотя и очень бѣдные люди, принадлежатъ къ потомству древнихъ іудейскихъ царей, давно угасшей, но достопамятной династіи Давида, предположенія пастуховъ выросли въ увѣренность, и восторженная молва о дивномъ младенцѣ полетѣла по городу. Шейхи, говоритъ Цетъ, тоже полюбопытствовали видѣть новорожденнаго Мессію и посѣтили убогій домикъ, куда добрые люди позволили перебраться юной родильницѣ изъ ея перваго, жалкаго пріюта. Что шейхи говорили съ родителями младенца, Цетъ не слыхалъ, да онъ и худо понимаетъ арамейскую рѣчь, но знаетъ, что шейхи сдѣлали имъ крупные подарки и золотомъ, и дорогими восточными ароматами. А что всего страннѣе, повидавъ младенца и родителей его, они заявили Цету, что имъ больше нечего дѣлать въ Виѳлеемѣ и незачѣмъ возвращаться въ Іерусалимъ, что они поѣдутъ теперь немедленно и прямымъ путемъ, черезъ пустыню, на свою родину. Затѣмъ они дружески простились съ Цетомъ, сѣли на своихъ верблюдовъ и, быстро погоняя ихъ, исчезли со всѣмъ своимъ караваномъ въ степи, какъ нѣкіе демоны.

Это происшествіе, само по себѣ настолько незначительное, что не стоило бы о немъ и разсказывать, неожиданно произвело чрезвычайно сильное впечатлѣніе на царя Ирода, который въ эти самые послѣдніе дни очень боленъ и душою, и тѣломъ, мучится подозрѣніями, мра-

ченъ и, были слухи, даже покушался на самоубійство, но какой - то вислоухій дуракъ изъ придворныхъ не далъ ему совершить это доброе дѣло: вырвалъ ножъ изъ его руки. Сравнивъ съ разсказомъ Цета какіе-то трактаты своихъ философовъ, онъ,—говорю же тебѣ, что онъ только тщеславится своимъ эллинскимъ свободомысліемъ на показъ, въ дѣйствительности же полонъ іудейскихъ предразсудковъ!—онъ, кичащійся умомъ и желающій, чтобы его называли Великимъ, — подивись, Гратъ!—впалъ въ то же самое воображеніе, что и невѣжественные виѳлеемскіе пастухи, то есть, что младенецъ, рожденный въ столь необыкновенной обстановкѣ,—дѣйствительно, настоящій, ожидаемый Мессія, и роковой для него, Ирода, будущій іудейскій царь. Къ тому же его очень оскорбилъ и показался ему подозрительнымъ отъѣздъ шейховъ, дѣйствительно, трудно объяснимый: они скрылись, не откланявшись царю, хотя онъ любезно ихъ принималъ,—вѣрнѣе сказать: они просто и преобидно бѣжали отъ него. Что касается таинственной галилейской семьи, Иродъ послалъ своего офицера въ Виѳлеемъ арестовать ихъ, но уже поздно: кто то шепнулъ галилеянамъ о неудовольствіи царя, и они бѣжали за границу, говорятъ, въ Египетъ.

Вижу отсюда, любезнѣйшій Гратъ, твое недоумѣніе и скуку: какъ, читая мое письмо, пожимаешь ты плечами, крутишь головою, щелкаешь пальцами и бормочешь про себя

— Что мнѣ за дѣло до всѣхъ іудеевъ, іудейскихъ царьковъ, заевфратскихъ шейховъ, галилейскихъ младенцевъ и матерей? зачѣмъ мнѣ пишетъ о нихъ этотъ чудакъ Матернъ, притомъ съ такою подробностью, будто добрый льстецъ божественнаго цезаря, чудакъ Веллей Патеркулъ, списокъ блюдъ на дворцовомъ обѣдѣ, къ которому не удостоился быть званъ?

А вотъ и знай, Гратъ, на какіе мелкіе интересы уходитъ жизнь у насъ, глухихъ провинціаловъ,—въ то время,

какъ ты, счастливый наслѣдникъ двухъ богатыхъ дядей, цѣлуешь смуглую Лалагу и апплодируешь въ свѣтской комедіи таланту Стефаніона. Пожалѣй меня, завидующаго, и извини за безсодержательность извѣстій, которыя,—пора признаться откровенно,—я излагалъ тебѣ только затѣмъ, чтобы легче скоротать докучную безсонную ночь на караулѣ. Привѣтствую тебя и всѣхъ нашихъ, а когда сойдетесь у Вепря, прошу тебя, Гратъ, и тебя Юлъ, и васъ, Домицій, Сабинъ и Бибулъ, хорошо выпить за мое здоровье, какъ я пью ваше,—цѣльнымъ виномъ, безъ примѣси влаги изъ марціева водопровода. Моей Лесбіи—конечно, уже невѣрной, потому что немыслимо, чтобы подобная кокетка хранила вѣрность отсутствующему любовнику долѣе того, какъ корабль, его влекущій, обогнетъ молъ Остійскаго порта,—можешь сообщить этой Лесбіи, что, возвратясь, я расплачусь со всѣми своими кредиторами и осыплю янтаремъ, жемчугомъ, индійскими изумрудами, тяжеловѣсными іудейскими златницами,—однако, не ее, предательницу, но ту будущую милочку, которую Паѳосская богиня пошлетъ мнѣ въ утѣшеніе капризовъ, плутней и измѣнъ маленькой негодяйки, извѣстной въ Римѣ подъ именемъ блондинки Лесбіи. Если ты напишешь мнѣ съ ближайшимъ кораблемъ изъ Рима, каково-то живется вамъ, блестящимъ римлянамъ, буду тебѣ очень благодаренъ, ибо письмо твое, какъ вѣтеръ съ родины, освѣжитъ меня, унылаго, дыханіемъ былой жизни. Не забудь также сообщить мнѣ подробности послѣднихъ модъ: какою прическою убираетъ волосы Юлъ Антоній, какіе танцы пляшутъ у Вепря испанки, что новаго любовнаго сочинилъ Назонъ, чьи рысаки берутъ призы на цирковыхъ бѣгахъ и съ кѣмъ въ связи свѣтлѣйшая домина Юлія. Да хранятъ тебя боги, чтобы ты былъ здоровъ.

Стихъ о воскресшемъ Христѣ.

(По сибирской раскольничьей легендѣ).

Когда Господь нашъ Іисусъ Христосъ былъ три дня
во гробѣ,
Красное солнце затмилось, не свѣтило,
Ясенъ мѣсяцъ съ небеси скатился,
Часты звѣзды пали въ окіянъ-море.
Кривда на Правду наступила,
Кривда Правду побѣдила,
Окрутила Правду въ лентіе-саванъ,
Зарыла Правду въ сырую землю,
Навалила на Правду бѣлъ-горючъ камень,
А на камени — казенныя печати,
А при камени — грозная стража.
Ходила Кривда по базару,
Пила Кривда чай-кофей, сладкую водку,
Похвалялась Аннѣ Каіафѣ,
Похвалялась Понтію Пилату:
— Баяла Правда, что воскреснетъ,
А ѣдятъ Правду въ земи черви!

Когда Господь нашъ Іисусъ Христосъ возсталъ три-
дневенъ изъ гроба,
Середь ночи солнце возсіяло

Ангельскія трубы вострубили,
Господни громы взрокотали,
Окіянъ-море всколыхнулось,
Казенныя печати растопились,
Бѣлъ-горючъ камень отвалился,
Мать-сыра-земля разступилась,
Грозная стража устрашилась,
Поползла ѐкорачь за ворота.
А никто того не видѣлъ, не слышалъ,
Видѣла-слышала Марія Магдалина.
— А ты, святая Марія Магдалина!
А дай ты мнѣ красное яичко!
А пойду Я къ Понтію Пилату,
А пойду Я къ Аннѣ-Каіафѣ,
А пойду Я къ Предателю Іудѣ,
А скажу имъ: Христосъ воскресе!
— Не ходи, Господи, къ Аннѣ-Каіафѣ,
Не ходи къ Понтію Пилату,
Не ходи къ Предателю Іудѣ:
Увидятъ они Тебя,—вострепещутъ,
Вострепещутъ,—вѣры Тебѣ не имутъ,
Призовутъ на Тебя грозную стражу,
Ввергнутъ Тебя въ темницу!

Пошелъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ къ Понтію Пилату.

А гдѣ Его ножки ступали,
Лазоревы цвѣты выростали,
Цѣлючіе ключи проступали.
Миндальныя древа расцвѣтали,
На тѣхъ древахъ – птица Сиренъ,
Гласъ ея въ пѣніи весьма силенъ:
Когда Господа роспѣваетъ,
Сама себя, птица, забываетъ!

Сидѣлъ Понтій Пилатъ на высокомъ стулѣ,
Ѣлъ Понтій Пилатъ дырявчаты вафли,
Увидѣлъ Господа Іисуса,—
Глаза выпучилъ,
Усы ощетинилъ,
Опустились его бѣлыя руки,
Подкосились его быстрыя ноги,
Зубомъ на зубъ не попадетъ,
Потому что лихорадка трясетъ.
— Охъ ты, Пилате! Охъ ты, Понтіе!
Что ты, Пилате, мечешься?
Что ты, Понтіе, трепещешься?
Думалъ ты, Пилате,—Правда въ землѣ лежитъ,
А Правда предъ тобою въ глазахъ стоитъ!
Въ глазахъ стоитъ, въ глаза глядитъ—
Не зажмуришься, не отворотишься...
Охъ ты, Пилате! Охъ ты, Понтіе!
Почто предалъ Правду на пропятіе?
Почто руки мылъ—съ рукъ совѣсть смылъ,
Отдалъ Правду воинамъ къ столбу привязать,
Приказалъ воинамъ Правду бичми бичевать,
На посляхъ одѣлъ Правду въ терновый вѣнецъ,
Въ терновый вѣнецъ, въ багряницу?
Со разбойниками Правду причислилъ,
Между двухъ разбойниковъ Правду распялъ?
Почто Правду на древянъ крестъ возносили,
Руки-ноги Правдѣ гвоздіемъ пробивали,
Оцетомъ Правду поили,
Копіемъ Правду кололи,
Лентіемъ-саваномъ связали,
Зарыли Правду въ сыру-землю,
Навалили на Правду бѣлъ-горючъ камень?
Обманула тебя, Пилата, Кривда—
Похвалялась, что Правда не воскреснетъ.
Что ѣдятъ Правду въ землѣ черви!

А не вѣрить бы тебѣ было Кривдѣ,
А и всѣ слова ея лукавы!
Не бояться бы тебѣ, Пилату, архиреевъ,
Лицемѣровъ, книжниковъ, фарисеевъ, —
Бояться бы тебѣ, Пилате, Бога,
Не давать бы Правду распинати:
Воскресъ Христосъ—и Правда воскресла!

Говорилъ Понтій Пилатъ Господу Іисусу:
Помилуй, Господи!
Прости, Іисусе!
Вижу я, Господи, свою неправду:
Кривда меня въ глаза обманула,
Кривда мнѣ глаза ослѣпила...
Возжалѣлъ я своего бѣлаго тѣла,
Возжалѣлъ я своего цвѣтного платья,
Сладкаго яствія,
Пьянаго питія,
Прохладнаго житія—
Убоялся я, Понтій, архиреевъ,
Устрашился я, Пилатъ фарисеевъ:
Руки мылъ—совѣсть смылъ!
Невиннаго предалъ на пропятье...
Во истину Христосъ воскресе!
Во истину Правда воскресла!
Тебѣ, Правдѣ, сіять во свѣтломъ раѣ
А мнѣ съ Кривдою кипѣть во адѣ!
Помилуй, Господи!
Прости, Іисусе!
Я сниму свое цвѣтное платье,
Свѣтлы пуговицы, кресты, медали,
Царю чинъ верну—о душѣ воздохну
Домъ продамъ—нищимъ роздамъ,
Жену отпущу—Бога сыщу:
Уйду во глубокія пещеры

Замаливать грѣхъ—спасти душу...
Помилуй, Господи!
Спаси, Іисусе!

Отвѣчалъ Господь Іисусъ Христосъ Понтію Пилату:
Богъ съ тобою, Понтіе Пилате!
Не снимай ты свово цвѣтного платья,
Свѣтлы пуговицы, кресты, медали,
Не иди во глубокія пещеры!
Сиди на высокомъ стулѣ,
Суди народъ по Божьей правдѣ,—
Человѣковъ паче Бога не бойся,
На Правду Кривдѣ не вѣруй!
Не обидь людей, не обидь Правду!
Никогда того не бываетъ,
Чтобы Правду Кривда загубила:
На крестѣ Правда помираетъ—
Во гробѣ Правда не истлѣваетъ...
Мать-сыра-земля Правды не укроетъ...
Бѣлъ-горючъ камень Правды не удержитъ:
Воскресъ Христосъ— и Правда воскресла!
А я на тебя не въ обидѣ:
Вотъ тебѣ красное яичко!

Пришелъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ ко Аннѣ Каіафѣ:
— Охъ вы, Анна-Каіафа! прегордые архиреи!
Книжники-фарисеи!
Къ Кривдѣ вы прилѣпились,
Отъ Правды вы отступились...
Каково хорошо вамъ Правдѣ въ глаза глядѣть?
Думали вы: Правду черви ѣдятъ,
А Правда идетъ—земля цвѣтетъ,
Звонятъ звоны малиновые,
Трубятъ трубы ангельскія,

Поютъ птицы райскія,
Середь ночи солнце зажигается!
Охъ вы, прегордые архиреи,
Книжники-фарисеи!
Почто вы Іуду на Правду соблазнили?
Тридцать сребренниковъ платили?
Со дреколіемъ на Правду выходили?
Связали Правдѣ руки,
Повели Правду въ судилище?
По щекѣ Правду били?
Въ глаза Правдѣ плевали?
Предали Правду игемону?
На Варраву Правду промѣняли?
На крестѣ Правдѣ покивали?
Поставили грозную стражу,
Чтобы Правда изъ гроба не вышла,
Чтобы Правда въ землѣ истлѣла?...
Горе вамъ, книжники-фарисеи!

Воскресъ Христосъ—и Правда воскресла!
Отвѣчали Анна-Каіафа, прегордые архіереи,
Книжники-фарисеи:
Помилуй, Господи!
Прости, Іисусе!
Видимъ мы, Христе, свою неправду.
Кабы мы свою неправду раньше знали!
Никогда еще того не бывало,
Чтобы Правда изъ могилы вставала!
А какъ нынѣ Правдѣ въ глаза глядѣть?
А куда отъ Правды глаза дѣть?
А жили мы, Анна-Каіафа, не по чести,
Любили земныя похоти и лести,
Сладко ѣли, пьяно пили, мягко спали,
Золоту казну копили, считали,
Собирали дани и доходы,

Были у насъ колесницы и скороходы:
За то мы Тя, Христе, гнали отъ перваго начала,
Чтобы Правда Твоя насъ не обличала!
А шапки-то у насъ рогаты,
А карманы-то у насъ богаты,—
Кривда намъ глаза ослѣпила,
Кривда насъ въ глаза обманула...
Во истину Христосъ воскресе!
Во истину Правда воскресла!
Тебѣ, Правдѣ, сіять въ свѣтломъ раѣ,
А намъ, съ кривдою, кипѣть во адѣ!
Помилуй, Господи!
Спаси, Іисусе!
Мы рогатыя шапки поскидаемъ,
Мы богатые карманы распоремъ;
Дома продадимъ—на міръ раздадимъ,
Уйдемъ въ глубокія пещеры,
Замаливать грѣхъ—спасти душу...
Тѣло убить—себя оживить!
Помилуй, Господи!
Спаси, Іисусе!

Отвѣчалъ Господь Іисусъ Христосъ Аннѣ-Каіафѣ:
Богъ съ вами, Анна-Каіафа!
Были вы прегордые архиреи,
Книжники-фарисеи,—
Будете чернцы старцы!
Снимайте рогатыя шапки,
Распорите богатые карманы—
Идите во глубокія пещеры
Псалтырь читать, во гробъ смотрѣть,
Смерти ждать, слезою душу мыть,
Чаять суда Господняго!
Подъ землею вы Правду схоронили—
Подъ землею въ себѣ Правды ищите!

А когда въ себѣ Правду найдете,
Идите въ міръ, къ добрымъ людямъ —
Говорите имъ Правду, не скрывайте!
Чтобы люди слышали-знали:
Никогда того не бываетъ,
Чтобы Правду Кривда загубила.
На крестѣ Правда помираетъ,—
Во гробѣ Правда не истлѣваетъ,
На третій день воскресаетъ!
Мать-сыра-земля Правды не укроетъ,
Бѣлъ-горючъ камень Правды не удержитъ...
Воскресъ Христосъ—и Правда воскресла.
А я на васъ не въ обидѣ!
Вотъ вамъ по красному яичку!

Вошелъ нашъ Господь Іисусъ Христосъ въ зеленую рощу:

Какъ вошелъ онъ въ зеленую рощу,
На всѣхъ древахъ цвѣты заалѣли,
На всѣхъ древахъ веселыя пташки запѣли;
На одномъ древѣ цвѣты не заалѣли,
На одномъ древѣ пташки не запѣли!
Середь рощи—бѣлая поляна,
Середь поляны—дрожитъ проклятое древо,
Проклятое древо—осина,
На осинѣ—гніючее тѣло,
Повѣшенникъ, Іуда-Предатель...
Зубы выщерилъ,
Глаза вытаращилъ,
Повѣсилъ языкъ на бороду:
На макушкѣ сидитъ черный воронъ,
Когти когтитъ, клювъ острить,
Хочетъ Іудѣ темя склевать...

Воззрѣлъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ на проклятаго Іуду,

Воздохнулъ, изъ очей слезу выронилъ.
Упала слеза на Алатырь-камень,
И прожгла слеза Алатырь-камень
На тысячу верстъ и на сто саженей,
Ажъ теперя въ камнѣ путь видать:
Отъ Ерусалима-града путь—на земной пупъ,
Отъ земного пупа на Царьградъ,
Отъ Царьграда на каменну Москву,
Къ чудотворцамъ Сергію-Троицѣ,
Отъ Москвы на Большой камень,—
А гдѣ пути конецъ,
И міру конецъ:
Живетъ самоядь,
Линная и долинная,
Живутъ дивіи народы,
Гоги и магоги,
Ихъ же заключилъ въ гору Александра,
македонскій царь,
А выйти имъ изъ горы—къ свѣтопреставленію.

Воздохнулъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ,
Молвилъ онъ Іудѣ Предателю:
Охъ ты, Іуда Предатель, чадо неразумное!
Чадо строптивое
Чадо невѣрное, обманчивое!
Легко-ли Мнѣ, чадо, тебя зрѣти?
Легко ли Мнѣ, чадо, о тебѣ промыслити?
Доселѣ ты, чадо, съ кисою ходилъ,
А нынѣ, чадо, на древѣ висишь!
Какъ Мнѣ тебя теперь судить?
Куда Мнѣ тебя опредѣлить?
Обступила тебя Кривда лукавая,
Всего обошла, въ тебя вошла!
Похвалялась Кривда Правду червямъ скормить,
А нынѣ Кривду самое черви ѣдятъ!

*

Ты скажи, Кривда, почто душу сгубилъ?
Почто продалъ Правду за сребренники?
Почто продалъ Правду цѣлованіемъ?
Отъ тебя, Іуды, Правда въ землю легла!
Думалъ ты, Іуда: Правду тлѣнъ истлитъ,
А Правда предъ тобою жива стоитъ,
Жива стоитъ, слезу ронитъ,
Твоего грѣха сожалѣя,
Неразумное, строптивое чадо!.
А Я на тебя не въ обидѣ!
Вотъ тебѣ красное яичко!

Черный воронъ вскаркалъ, взлетался,
Горькая осина встрепеталась,
Проклятый Іуда закачался,
Мертвыя уста провѣщали:
Помилуй, Господи!
Прости, Іисусе!
Не мучь меня послѣ смерти!
Благость Твоя мнѣ не подъ силу...

Господь нашъ Іисусъ Христосъ промолвилъ:
Слушай меня, Іуда-Предатель!
На тебя Я гнѣва не имѣю,
Отпускаю, что Меня ты предалъ,
Только помню, что былъ ты Мой апостолъ.
Говори, неразумное чадо:
Готова-ли душа къ покаянью?
Если душа къ покаянью готова,
Сниму я тебя, Іуда, съ осины,
Воздвигну я тебя, Іуда, отъ смерти,
Чтобы ты опять ходилъ за Мною.
Воскресъ Христосъ—и правда воскресла!
Смертію смерть она попрала!
Въ смерти бывшимъ животъ даровала!

Отвѣчалъ проклятый Іуда:
Во истину Христосъ воскресе!
Во истину Правда воскресла!
Помилуй, Господи!
Прости, Іисусе!
Готова душа къ покаянью,—
Но не мучь меня послѣ смерти:
Благость Твоя мнѣ не подъ силу...
Оставь меня висѣть на осинѣ!
Когда Твоя кровь проливалась,
Всѣ грѣхи на землѣ она омыла,—
Одного грѣха не омыла,
Что я Тебя цѣлованіемъ предалъ.
Если Ты меня съ осины снимешь,
Если Ты меня воздвигнешь отъ смерти,
Не могу я ходить за Тобою,
Не буду я Тебѣ апостолъ!
Побѣгу я въ страхѣ, какъ Каинъ,
Побѣгу я въ стыдѣ, какъ Адамъ и Ева,
Побѣгу я въ злобѣ, какъ діаволъ,
Побѣгу я въ степи-пустыни,
Укроюсь я въ темные гробы,
Зароюсь въ песокъ сыпучій,
Чтобы люди меня не увидали,
Дѣти-бъ на меня не плевали,
Камнями не швыряли,
Пальцемъ на меня не показали,
Іудою не назвали...
Всѣ грѣхи Твоя кровь омыла—
Отъ моего грѣха отступила!
Если кто Кривдѣ Правду предалъ,
Нѣтъ тому милости на свѣтѣ,
И будетъ отнынѣ и до вѣка
Нарекаться ему имя—Іуда!
И кому наречено то имя,

Не ужиться ему, живымъ, съ живыми!..
Родная мать Іуду проклянетъ,
Дворовый песъ отъ Іуды отпрянетъ!..
Нѣтъ Іудѣ мѣста на свѣтѣ—-
Кромѣ какъ на горькой осинѣ!
Не мучь меня, Іисусе!
Благость Твоя мнѣ не подъ силу!

И сказалъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ Іудѣ:
Миръ тебѣ, несчастное чадо!
Оставайся въ томъ, что самъ ты выбралъ...

Такъ Іуда на осинѣ остался.

Альбигоецъ.

(Легенда 1208 года).

Старый альбигоецъ, могучій графъ Раймондъ Тулузскій одиноко умиралъ въ полуразрушенной башнѣ своего родового замка въ Бизьерѣ. Вчера прибылъ изъ Рима въ Бизьеръ — наслѣдственный городъ графовъ Тулузскихъ,— папскій легатъ Арнольдъ и привезъ съ собою буллу Иннокентія Третьяго, римскаго епископа, «намѣстника Христова на землѣ». Иннокентій отлучилъ отъ церкви всѣхъ альбигойцевъ и предалъ анаѳемѣ графа Раймонда. И папскій легатъ Арнольдъ, стоя на соборной паперти, прочелъ буллу папы народу и, прочтя, воскликнулъ:

— Такъ да погибнутъ всѣ грѣшники!

И народъ повторилъ:

— Такъ да погибнутъ всѣ грѣшники!

И тогда всѣ, почитавшіе себя праведными, то есть вѣрными папѣ и послушными волѣ легата, стали убивать грѣшныхъ: всѣхъ, кто не хотѣлъ признавать папу намѣстникомъ Христа, земнымъ полубогомъ, смѣялся надъ его буллою и презиралъ проклятіе легата. Начался страшный бой между альбигойцами и возставшимъ на нихъ народомъ. Народъ одолѣлъ. Альбигойскіе рыцари пали въ неравномъ бою всѣ до единаго и съ ними множество родныхъ и друзей ихъ. Разъяренные люди убивали, не разби-

рая правыхъ и виноватыхъ, не щадя ни пола, ни возраста. Если же побѣдителей брало сомнѣніе: разить или нѣтъ? альбигойцы ли бѣгутъ предъ ихъ безпощадными мечами или, зараженные паническимъ страхомъ общей бойни, добрые католики?—легатъ Арнольдъ восклицалъ съ церковной паперти:

— Рубите! рубите всѣхъ! Господь—всевѣдущъ: Онъ отличитъ грѣшныхъ отъ праведныхъ.

И убивали всѣхъ.

Графъ Раймондъ былъ тяжко раненъ въ бою. Слуги отнесли его въ старую башню, и лежалъ онъ одинъ на постели отцовъ своихъ и ждалъ смерти. Всѣ въ Бизьерѣ знали, что онъ умираетъ, но никто не хотѣлъ придти къ нему и облегчить его послѣднія минуты хотя бы словомъ участія, потому что всѣ его друзья и единомышленники умерли, и остались вокругъ него либо равнодушные, либо враги, которые не добивали старика только потому, что были увѣрены: сейчасъ онъ и самъ издохнетъ, не стоитъ кровавить рукъ.

И точно: почуялъ близко смерть свою старый еретикъ, графъ Раймондъ, и, открывъ долго сомкнутые глаза, сказалъ часовому, сторожившему его спальню, какъ темницу:

— Хочу исповѣдать Господу грѣхи мои. Позови ко мнѣ капеллана.

Но капелланъ отказался придти къ графу, потому что сказалъ:

— Папа проклялъ его. Онъ больше не христіанинъ. Онъ отлученъ. Пусть околѣваетъ, какъ собака. Не будетъ ему прощенія ни въ сей жизни, ни въ будущей.

Часовой былъ добрый малый. Жаль ему стало, что великій и знаменитый рыцарь долженъ умереть безъ покаянія, и пошелъ онъ по городу искать священника сговорчивѣе. Стучался къ одному, къ другому, къ третьему, къ четвертому; но каждый гналъ его отъ дверей, всѣ повторяли въ одинъ голосъ:

— Папа проклялъ его. Онъ—больше не христіанинъ. Онъ отлученъ. Пусть околѣваетъ, какъ собака! Не будетъ ему прощенія ни въ сей жизни, ни въ будущей.

Впрочемъ, одинъ полюбопытствовалъ:

— Стало быть, еретикъ раскаялся: забылъ свои заблужденія и въ смертный часъ свой соглашается признать, что папа есть намѣстникъ Божій, образъ Христа на землѣ?

Такъ какъ солдатъ не умѣлъ отвѣтить ему, священникъ сказалъ:

— Никогда не должно отказывать грѣшнику въ возможности покаянія. Попробую пойти съ тобою. Быть можетъ, еще успѣю спасти его заблудшую душу.

Войдя къ графу, священникъ прежде всего задалъ Раймонду тѣ же вопросы, что и часовому: о папѣ, намѣстникѣ, отлученіи, покаяніи.

Графъ отвѣчалъ:

— Какое мнѣ дѣло до папы? Пусть онъ называетъ себя, какъ хочетъ. Я покончилъ свои счеты съ землею и иду предъ лицо Отца Небеснаго. Ни папа, ни иной владыка человѣческій не властны надо мною, не важны и не нужны мнѣ болѣе. Я ожидалъ и звалъ къ себѣ не папскаго слугу, чтобы спорить о папѣ, но священника любви Христовой, чтобы открыться, какъ я вѣрилъ въ Христа, какъ любилъ Его, что сдѣлалъ во имя Его, и чѣмъ согрѣшилъ противъ Него вольно и невольно.

Тогда и этотъ священникъ отступилъ отъ графа, говоря:

— Тебѣ нѣтъ дѣла до папы? Значитъ, ты, дѣйствительно,—больше не христіанинъ, и стократъ правъ прозорливецъ, святой отецъ нашъ папа, что предалъ тебя анаѳемѣ. Проклятъ ты въ сей жизни и въ будущей. Околѣвай, какъ собака! Великій грѣхъ христіанину оставаться съ тобою. Проклятъ будь, кто подастъ тебѣ помощь.

И ушелъ отъ графа, и увелъ съ собою часового, потому что боялся, чтобы тотъ не погубилъ свою душу,—не

разжалобился бы къ еретику, въ смертный часъ его. И лежалъ графъ—опять одинъ—въ старой башнѣ, и не было никого, кто бы подалъ ему пить, кто осушилъ бы предсмертный потъ на его челѣ, кто прошепталъ бы надъ нимъ отходную молитву.

Но вотъ—вдругъ, просвѣтлѣло у графа Раймонда въ гаснущихъ очахъ, и видитъ онъ: входитъ къ нему человѣкъ, ликомъ ясенъ, одеждою бѣденъ, очи его—какъ звѣзды, и волосы, цвѣта спѣлаго орѣха, двумя волнами падаютъ на плечи его. И сказалъ графу человѣкъ:

— Миръ тебѣ.

Графъ отвѣчалъ:

— Спасибо. Только отойди отъ меня, потому что я проклятъ папою, и общеніе со мною осквернитъ тебя въ глазахъ людей.

Незнакомецъ улыбнулся и сказалъ:

— Этого я не боюсь.

Графъ возразилъ:

— Напрасно. Папа могучъ, служители его свирѣпы. Оставаясь со мною, ты наживешь себѣ большую бѣду.

Незнакомецъ повторилъ:

— Я не боюсь.

Графъ сказалъ:

— Не думалъ я, что у меня еще остались друзья. Кто же ты, безстрашный человѣкъ? Почему я не зналъ тебя до послѣдняго часа?

Незнакомецъ отвѣчалъ:

— Я тотъ, кого ты звалъ, чтобы открыться, какъ ты вѣрилъ въ Христа, какъ любилъ Его, и чѣмъ согрѣшилъ противъ Него вольно и невольно.

И покаялся могучій тулузскій графъ Раймондъ, старый рыцарь, въ смертный часъ свой, въ башнѣ наслѣдственнаго замка въ Бизьерѣ.

— Отецъ мой, не вѣрилъ я, что папа—намѣстникъ Божій на землѣ, что нѣтъ на немъ грѣха, что слово устъ

его есть слово Христово, что связанное имъ на землѣ будетъ связано и на небесахъ... Простится ли мнѣ вина невѣрія моего? Или анаѳема папы и впрямь предастъ меня аду?

Незнакомецъ отвѣчалъ:

— Ты не вѣрилъ въ слово папы, но зналъ и исполнялъ слово Христово, какъ Онъ заповѣдалъ его ученикамъ своимъ. Миръ тебѣ, отпускаю тебя отъ жизни земной въ жизнь вѣчную.

Продолжалъ Раймондъ:

— Отецъ мой, не ходилъ я въ храмы, освященные папою, не слушалъ службъ, творимыхъ священниками папы. Простится ли мнѣ грѣхъ невѣрія моего или быть мнѣ отверженнымъ отнынѣ и до вѣка?

Незнакомецъ сказалъ:

— Но ты и день, и ночь молился въ томъ храмѣ Божіемъ, который Христосъ въ три дня разрушилъ и воздвигъ вновь изъ праха. Но ты самъ въ душѣ своей былъ неустанный священникъ Бога и Христа своего. Миръ тебѣ, отпускаю тебя въ жизнь вѣчную.

Воскликнулъ Раймондъ:

— Отецъ мой, тысячи сомнѣній о вѣрѣ Христовой обуревали меня...

— Гдѣ любовь, тамъ и ревность,—сказалъ незнакомецъ,—гдѣ ревность, тамъ и сомнѣніе. Миръ тебѣ: сомнѣніями мысли своей ты любилъ Его больше, чѣмъ можетъ любить неразмышляющая вѣра.

— Отецъ мой, я не платилъ церкви десятины, не дѣлалъ жертвъ на храмы.

— Но ты утѣшалъ страждущихъ, кормилъ голодныхъ, поилъ жаждущихъ,—и самъ такъ жилъ, и другихъ училъ жить. Не бойся: отпускаю тебя отъ жизни сей съ миромъ.

И, пока Раймондъ сбирался съ мыслями, какой грѣхъ своей жизни назвать теперь прежде другихъ, незнакомецъ ласково смотрѣлъ въ глаза его и говорилъ:

— Нѣтъ грѣха, неискупимаго любовью Христовою. Кто любитъ Христа въ словѣ Его, тотъ будетъ съ Нимъ въ царствѣ Его.

Но Раймондъ опустилъ голову на грудь и возразилъ съ тоскою:

— Боюсь, отецъ мой, что я и любилъ Его меньше, чѣмъ надо. Часто сомнѣвался я даже въ божествѣ Его. Часто соблазнялся я гордою мыслью, что и Онъ былъ только человѣкъ,—лучше котораго никогда не бывало и не будетъ на свѣтѣ, за котораго я радъ положить душу свою... Этотъ грѣхъ простится ли мнѣ или быть мнѣ отлученнымъ отъ Христа навѣки?

Незнакомецъ спросилъ:

— Но вѣдь ты любишь Его безразлично—былъ ли онъ Богъ или человѣкъ?

Раймондъ сказалъ:

— Да. Я жилъ любовью къ Нему, и имя Его будетъ моею послѣднею мыслью.

Тогда Незнакомецъ простеръ надъ нимъ руки свои и сталъ свѣтелъ, какъ райскій день, и воскликнулъ голосомъ, трепещущимъ, какъ звонкія крылья серафимовъ:

— Сынъ мой, не бойся,—Ѳома тоже усомнился въ божествѣ Его и не хотѣлъ вѣрить Его Воскресенію. Но любовь Ѳомы спасла его, и Христосъ самъ явилъ ему Свою тайну. Ты стоишь на смертномъ порогѣ: перешагнешь его и станешь передъ лицомъ Христовымъ, и самъ увидишь Его, и узнаешь, кто Онъ. И, если до сихъ поръ ты нѣжно и пламенно любилъ въ Немъ человѣка, тѣмъ нѣжнѣе и пламеннѣе полюбишь теперь въ Немъ Бога. И Онъ, любимый тобою на землѣ, какъ человѣкъ, возлюбитъ тебя въ небѣ, какъ Богъ.

Когда на утро люди вошли въ башню взглянуть, живъ ли старый еретикъ, Раймондъ лежалъ уже холодный, окостенѣлый. Но уста его улыбались, и столько свѣта и

мира было разлито въ застылыхъ чертахъ, что всѣ видѣвшіе смутились и спрашивали другъ друга:

— Это ли мертвецъ, проклятый папою? это ли врагъ Христовъ, осужденный въ огонь и муку вѣчную?

И хотѣли похоронить Раймонда съ честью. Но легатъ Арнольдъ приказалъ выбросить трупъ его собакамъ.

1902.
Минусинскъ.

КАПИЩЕ ОРМУЗДА.

Далеко въ голубомъ морѣ былъ островъ. На островѣ жили люди разной вѣры. Одни вѣрили въ Аримана, чернаго бога, другіе—въ бѣлаго бога, Ормузда, третьи не вѣрили ни въ Ормузда, ни въ Аримана: имъ было безразлично, который изъ двухъ—правый богъ, который—злой демонъ—обманщикъ, а молились они тому, чья вѣра была сильнѣе властью и выгоднѣе для поклонниковъ. Четвертые, наоборотъ, вѣрили въ обоихъ боговъ: и въ бѣлаго, и въ чернаго, обоимъ распредѣлили особое почитаніе за особыя каждаго достоинства, и—одни изъ этихъ двувѣрныхъ втайнѣ очень стыдились предъ Ормуздомъ за свою слабость къ Ариману, а предъ Ариманомъ—за слабость къ Ормузду; другіе же сожалѣли, что нѣтъ для нихъ въ мірѣ третьяго бога, сѣраго, который бы смѣшалъ чернаго съ бѣлымъ въ одинъ безобидный, сѣрый цвѣтъ, и былъ бы равно пріятенъ и поклонникамъ Ормузда, и аримановцамъ.

Торжествовала на островѣ черная, Ариманова вѣра. Капища ея были многочисленны и великолѣпны, жрецы сыты и величественны. Бѣлая вѣра, Ормуздова, капищъ не имѣла, и тощіе жрецы ея прятались по болотамъ, пещерамъ и лѣснымъ дебрямъ.

Сочувственниковъ у нихъ было много, но все тайныхъ. Когда же кто изъ нихъ высказывался явно, жрецы Ари-

мана имали того и ввергали въ узилище, бывшее подъ ихъ главнымъ капищемъ.

Однако, при всѣхъ своихъ несчастіяхъ, вѣра Ормуздова не умирала, но, съ каждымъ днемъ,—тихая, по дну плывущая,—распространяла свое свѣтлое ученіе. Не могла замереть въ людяхъ острова потребность общаться съ Ормуздомъ, бѣлымъ богомъ, потому что его даромъ міру была совѣсть, а дарами его черпаго противника были сила и наслажденіе.

И молились люди на острову,—одни:

— Ормуздъ, бѣлый богъ, сохрани намъ чистую совѣсть!

Другіе:

— Черный богъ, Ариманъ, вооружи насъ силою противъ сосѣдей нашихъ, наполни наслажденіемъ нашу земную жизнь!

Третьи:

— Ариманъ и Ормуздъ, равно славные черный и бѣлый боги! Дозвольте намъ использовать и силу, и наслажденіе въ полное наше удовольствіе, а, по добротѣ своей божественной, устройте такъ, чтобы намъ было незазорно смотрѣть другъ другу въ глаза, и совѣсть наша оставалась бы чиста, какъ совѣсть младенца....

Былъ между жрецами Аримана одинъ по имени Файамесъ, человѣкъ живой и впечатлительный. Силу онъ уважалъ, наслажденіе любилъ, жилъ-пировалъ, надъ Ормуздомъ и жрецами его слегка посмѣивался. Очень ужъ большихъ злодѣйствъ, будучи по природѣ добродушенъ, не успѣлъ натворить,—однако же, смолоду грѣша, душу свою выгрязнилъ предостаточно. А какъ совѣсти своей никакими средствами и соблазнами чернобожія заглушить не могъ, то, при всѣхъ своихъ успѣхахъ въ жизни, не былъ собою доволенъ. Глядя-же на преуспѣянія и подвиги другихъ жрецовъ Аримана, болѣе усердныхъ, очень часто чувствовалъ къ нимъ глубочайшее омерзѣніе, а по себѣ самомъ жестокую тоску и начиналъ сомнѣваться: да полно, суще-

ствуетъ-ли и стоитъ-ли имени бога Ариманъ, если ради него могутъ твориться столь неистовыми людьми столь неистовыя дѣянія?

Однажды, когда чернобожники сотворили нѣчто совсѣмъ безобразное, Файамесъ убѣжалъ отъ нихъ въ отчаяніи, самъ не свой, куда глаза глядѣли, въ нѣдра матери-пустыни. И Ормуздъ послалъ ему навстрѣчу одного изъ мощныхъ пророковъ своихъ. И когда Файамесъ выслушалъ отъ пророка обличеніе своихъ грѣховъ и ложной вѣры, разодралъ онъ на себѣ одежду, посыпалъ пепломъ голову и упалъ ницъ, вопія:

— Бѣлый богъ! Долготерпѣливый, милосердный богъ! Пощади меня! Согрѣшилъ я предъ людьми и предъ тобою... Прости и прими меня къ себѣ! Очисти мою совѣсть!

И сломалъ онъ свою гордость, и совершилъ подвигъ покаянія. И Ормуздъ пожалѣлъ его, и велѣлъ ему стать въ число своихъ слугъ.

Тогда пророкъ Ормуздовъ спросилъ бывшаго чернобожнаго жреца:

— Какъ ты будешь теперь жить и что собираешься дѣлать?

Обращенный отвѣчалъ:

— Останусь въ пустынѣ, вопія свое покаяніе...

Пророкъ возразилъ:

— Нѣтъ, братъ: пустыня—мѣсто для простецовъ, которые только тѣмъ и могутъ угодить Ормузду, что зорко берегутъ одну свою душу; а ты—человѣкъ даровитый. Ступай въ міръ, и какъ пришелъ ты къ Ормузду самъ, такъ веди къ нему теперь чужія души.

И Файамесъ принялъ искусъ, и вернулся въ міръ, и всѣмъ проповѣдывалъ о величіи Ормузда, о ничтожествѣ ложнаго Аримана, о торжествѣ совѣсти надъ злобою себялюбивой силы и обманомъ наслажденія. Пошла о немъ широкая молва по острову,—очень любопытствовали о немъ люди и старались, какъ бы его услышать.

Приходитъ къ Файамесу нѣкоторый человѣкъ и говоритъ ему:

— Знаешь-ли, любезный проповѣдникъ? Наши чернобожники на тебя ужасно злы. Того гляди, возьмутъ тебя и спустятъ въ узилище.

Файамесъ отвѣтилъ:

— Такъ что же? Я готовъ: такъ тому и быть. Пусть страданіе мое засвидѣтелъствуетъ истину и мое покаяніе.

— Да,—говоритъ человѣкъ,—ты разсуждаешь почтенно, и пострадать за истину,. конечно, похвально. Однако, можно сдѣлать для Ормузда кое-что и получше.

— Научи, я сдѣлаю.

— Видишь ли, Файамесъ: по убѣжденіямъ, я—поклонникъ Ормузда, а въ народѣ и у жрецовъ слыву усерднымъ приверженцемъ Аримана. Чернобожники меня любятъ, и мнѣ позволено даже выстроить собственное капище.

— Что же мнѣ въ твоемъ капищѣ? Чего ты отъ меня хочешь?

— Какъ чего? ты не понимаешь? Я открою для тебя свое капище,—освяти его въ честь своего новаго бога. Проповѣдуй! Пусть у Ормузда будетъ тоже свой открытый храмъ на островѣ.

Файамесъ воскликнулъ съ восторгомъ:

— Ты великодушнѣйшій изъ смертныхъ! Но, бѣдный, ты рискуешь жестоко поплатиться за свое предложеніе!

Человѣкъ возразилъ съ гордостью:

— Если ты не боишься пострадать за вѣру, позволь имѣть частичку мужества и мнѣ.

Отъ проповѣдника Файамеса хозяинъ капища пошелъ къ жрецамъ Аримана и сказалъ имъ:

— Достопочтенные господа! Ересь Ормуздова распространяется по землѣ. Въ прежнія времена всѣхъ этихъ проклятыхъ бѣлобожниковъ взять бы да и спалить на кострахъ, либо оттяпать имъ глупыя головы па плахахъ. Но не тотъ вѣкъ. Вы, достопочтенные, стѣснены въ свободѣ

дѣйствій. Наглое повѣтріе, называемое общественнымъ мнѣніемъ, стѣсняетъ васъ. Безсмысленные люди кричатъ, будто вы—гонители, а ученики Ормузда—мученики. Васъ ненавидятъ, а ихъ любятъ. Я—искренній поклонникъ Аримана, и мнѣ больно видѣть ваше затрудненіе. Позвольте мнѣ придти къ вамъ на помощь.

Чернобожники навострили уши:

— Великолѣпно. Слушаемъ.

Хозяинъ капища продолжалъ:

— Я предложу вамъ средство, которое унизитъ Ормузда, а съ Аримана сниметъ непріятную славу гонителя. Позвольте мнѣ открыть бѣлобожникамъ мое капище,— пусть болтаетъ тамъ этотъ сумасшедшій Файамесъ, ихъ новый проповѣдникъ.

— Ты съ ума сошелъ!—воскликнули жрецы.

Но хозяинъ капища продолжалъ:

— Достопочтенные! Одно капище на цѣлый островъ— не велика сила, а между тѣмъ народъ станетъ говорить: что же ормуздіане жалуются, будто у нихъ рты замазаны? Вонъ,—аримановцы ихъ не боятся, даже дали имъ свое капище...

— Такъ-то, такъ,—говорятъ жрецы,—да ты не знаешь этихъ людей... Они захватываютъ, какъ язва... Такого напроповѣдуетъ, что потомъ нашъ братъ только держись...

— Отцы!—воскликнулъ хозяинъ капища.—А я-то на что? Капище мое, я имъ и распоряжаюсь. Они этимъ капищемъ страхъ какъ будутъ дорожить, потому что оно у нихъ одно. Да! одно капище, да и то—ха-ха-ха!—мое. Я этимъ капищемъ такъ свяжу ихъ по рукамъ и ногамъ, что они и пикнуть дурно у меня не посмѣютъ. Отъ всего ихъ Ормузда останется только видимость, а чуть дѣло пойдетъ въ суть, я уже и тутъ, какъ тутъ: что̀, молъ, вы, сумасшедшіе люди? Въ какую бѣду лѣзете сами и тянете меня? Если не жаль своихъ головъ, пожалѣйте хоть капище. Сколько лѣтъ не было капища у Ормузда, въ кои-то вѣки

капище учредилось, а вы его подводите подъ гибель?! И будутъ мои голубчики тише воды, ниже травы, такъ что вы этихъ бѣлыхъ ормуздіанъ не отличите отъ черныхъ аримановцевъ.

Жрецы подумали, говорятъ:

— Это хитро, если такъ.

А одинъ изъ жрецовъ прибавилъ:

— Очень ловко... Но ради чего ты стараешься? Конечно, ради денегъ? Даромъ намъ, чернобожникамъ, никогда никто не служилъ и не служитъ. Сколько же тебѣ?

Хозяинъ отвѣчалъ смиренно:

— Ничего мнѣ отъ васъ не надо, усердствую Ариману безмездно,—только укрѣпите за мною возможные доходы съ капища.

Жрецъ скосилъ глаза, говоритъ:

— Да ты, можетъ быть, милліоны съ него снимешь?

Хозяинъ же капища, видя, что этотъ жрецъ понимаетъ дѣло, сказалъ:

— А сколько сниму, повиненъ треть платить Ариману.

И открылось капище Ормузду, бѣлому богу. И было оно богато, и украсились жрецы его пышно, и толпился въ немъ благоговѣйный народъ. И воспѣли въ немъ проповѣдники, и заговорилъ за старшаго между ними Файамесъ. Но передъ тѣмъ, какъ ему впервые говорить, отозвалъ его хозяинъ капища въ сторонку:

— Вотъ что, братъ. Аримановцы уже раскаиваются, что позволили намъ имѣть капище: боятся. Такъ ты, на первыхъ порахъ, остерегись,—не зли, не дразни ихъ сразу-то, не очень словами воюй. Вѣдь и то уже—шутка ли!—какую побѣду мы одержали: капище имѣемъ. Капище, братъ, надо беречь: капище—Ормуздовъ оплотъ и символъ, капище дороже насъ съ тобою. Мы умремъ, а капище останется. Такъ вотъ, и побереги: только на первыхъ порахъ, покуда къ намъ привыкнутъ. Очень ужъ это наше капище

аримановцамъ противно и необыкновенно. Такого труда стоило мнѣ его устроить! Такого труда!..

Файамесъ подумалъ, поморщился .. Что̀ же? какъ будто и правъ хозяинъ, дѣльно говоритъ.

— Быть по твоему. Я скажу осторожно.

— Вотъ, вотъ... Обинякомъ больше старайся,—понимаешь?—обинякомъ! Ормузда хвали, а Аримана не обличай. Ясно?

— Ясно-то, ясно, только — очень ужъ мудрено... Нельзя этого совмѣстить.

— А ты старайся. Дано тебѣ капище, ты и старайся.

Народъ въ капище такъ и валитъ валомъ. Жертвы, доходы,—всѣ пророки сытые сдѣлались, бѣлые, холенные. Только хозяинъ ходитъ невеселый, лобъ третъ. Спрашиваютъ его пророки:

— Зачѣмъ ты, человѣче, лобъ трешь? Вѣра наша растетъ, капище процвѣтаетъ, мы сыты, деньги къ тебѣ плывутъ... все обстоитъ благополучно. Не унывай, но воспляши съ нами.

— Не до плясокъ, отцы,—жалуется хозяинъ.—Очень ужъ непрочно наше капище. Былъ я вчера призыванъ къ аримановымъ жрецамъ. Ужъ они меня пушили, пушили... Поперекъ горла костью сталъ имъ нашъ Файамесъ. Да и надо правду сказать: заносится, братцы! Дерзокъ! Какъ ни какъ, а вѣдь аримановцы, хоть и дурные люди, но съ нами поступили очень порядочно: взять хотя бы капище это. Надо его цѣнить! беречь!.. А Файамесъ ихъ въ капищѣ каждый день—и такъ, и этакъ... Понятно, что злятся... Нельзя! Они тоже имѣютъ право вѣровать, во что и какъ имъ угодно... чужія убѣжденія надо уважать.

Проповѣдники поразмыслили:

— Правда.

Окружили Файамеса:

— Отче, ты полегче! А то мы безъ капища останемся.

— Друзья мои,—отвѣчалъ Файамесъ.—Радъ бы угодить вамъ, да не умѣю я легче-то. И то мнѣ уже стыдно на каѳедру всходить. Такъ вотъ и шепчетъ совѣсть въ уши: все-то ты замалчиваешь, все-то не договариваешь, не смѣешь взглянуть Ариману прямо въ глаза... Не умѣю легче.

А хозяинъ уже тутъ, какъ тутъ,—доспѣлъ:

— Это,—внушаетъ,—оттого, что—ты все импровизаціи какія то возглашаешь. А ты пиши свои слова заранѣе въ тетрадь, да обсуждай ихъ совмѣстно со всѣми нами,—вотъ мы общимъ совѣтомъ и сгладимъ все, исправимъ, направимъ, на умъ наведемъ...

Пророки переглянулись:

— А вѣдь это онъ придумалъ чудесно!

Файамесъ говоритъ:

— Если вы одобряете, я согласенъ.

Прошла еще недѣля, другая. Опять не въ духѣ хозяинъ.

— Что̀ съ тобою?—спрашиваетъ Файамесъ.

— Да—что! Противно и говорить. Новая непріятность.

— Скажи.

— Свирѣпствуютъ на тебя аримановцы. Говорятъ, что ты соблазняешь народъ. Мы,—кричатъ,—не съ тѣмъ позволяли вамъ имѣть капище, чтобы Файамесъ проклиналъ насъ въ немъ! Убери его! У него такта нѣтъ. Если онъ будетъ у васъ главнымъ, мы отнимемъ капище.

Файамесъ улыбнулся.

— Стало быть, все дѣло въ томъ, чтобы я не былъ главнымъ?

— Да, требуютъ.

— Такъ поставьте другого на мое мѣсто. А я сойду въ рядъ подначальныхъ жрецовъ

Пророки говорятъ:

— Никто изъ насъ не рѣшится занять твое мѣсто. Ты—нашъ старшій, мы тебя избрали.

— Это правда,—поддакиваетъ и хозяинъ.—Святая правда. Вамъ неловко. И очень это, братцы, съ вашей стороны хорошо, что вы правило подчиненія помните. А я, друзья, вотъ что предложу къ обоюдному удовольствію. Пускай нашъ Файамесъ, какъ управлялъ капищемъ, такъ и управляетъ имъ, только негласно. А для отвода глазъ ариманіанамъ, выберемъ мы себѣ, якобы, въ главы какого нибудь парня со стороны,—такого, чтобы ни черный, ни бѣлый, а сѣрый съ крапинами, чтобы былъ намъ не вреденъ, а имъ пріятенъ... Въ дѣла свои мы его не пустимъ, а жалованье положимъ хорошее и почетъ будемъ оказывать для видимости, какъ подобаетъ. Поняли?

Пророки смутились:

— Понять-то поняли...

— Такъ и ну, благословясь! у меня уже и парень есть на примѣтѣ. Рубаха! Смирный! Хочешь,—его съ кашей ѣшь; хочешь,—съ масломъ пахтаешь.

— А—ну, какъ онъ захочетъ въ самомъ дѣлѣ начальствовать и заберетъ насъ въ руки?

Хозяинъ хохочетъ.

— Этакихъ-то умныхъ? этакихъ-то талантливыхъ? Стыдились бы труса праздновать! Вѣдь, у насъ Файамесъ!.. Ахъ, вы!.. Да, наконецъ, я то на что? Или я васъ не уберегу? Кто мнѣ дороже—вы или онъ? Развѣ я не вашъ человѣкъ? Развѣ я не доказалъ, что для вашей вѣры готовъ въ огонь и воду, и въ мѣдныя трубы?

— Вѣрно,—соглашаются проповѣдники.—Ты много намъ помогъ. Хорошо. Если Файамесъ согласенъ, можно выбрать твоего парня.

Файамесъ отвѣчаетъ:

— По мнѣ—лишь бы было цѣло капище и воздавалась въ немъ слава Ормузду, а то я готовъ и палкѣ кланяться.

Сѣлъ парень въ старшіе надъ капищемъ. А хозяинъ, тѣмъ временемъ, хвастался чернобожникамъ:

— Не говорилъ ли я вамъ, что я Файамеса въ узду обряжу?

Если же встрѣчалъ бѣлобожника и притомъ наединѣ, то шепталъ ему:

— Что дѣлать? Заставили взять въ жрецы вонъ какого дурака. Но вы не смущайтесь: это—только на показъ, а на дѣлѣ Файамесъ у насъ попрежнему всѣмъ заправляетъ... Этотъ—только на показъ!

И повалилъ народъ въ капище пуще прежняго, потому что очень жалѣлъ Файамеса и пророковъ, какъ ариманіане ихъ стѣснили.

По нѣкоторомъ времени, призываетъ парень, старшій надъ капищемъ, Файамеса предъ свои ясныя очи и повелѣваетъ:

— Вотъ что, отче: читалъ я сейчасъ рѣчь твою, которую ты собираешься произнести завтра. Ты эту свою затѣю оставь. Я не позволю.

— То есть, какъ это не позволишь?—удивился Файамесъ.—Ты не имѣешь права позволять или запрещать.

Парень засмѣялся.

— Въ своемъ-то капищѣ, да не имѣю права?

— Капище не твое, ты не можешь имъ распоряжаться; оно создано мною и моими друзьями-пророками, мы—его хозяева.

Парень надулся и возражаетъ:

— Не мое дѣло разбирать, кто его создавалъ. Я знаю, что я поставленъ сюда главнымъ, отвѣчаю за всѣхъ васъ предъ жрецами Аримана, мнѣ они вѣрятъ, вамъ нѣтъ,—и говорить рѣчь завтра я тебѣ не позволю. А если ты меня ослушаешься, я немедленно пойду къ ариманіанамъ и буду самъ просить ихъ, чтобы капище у васъ отняли.

— Что дѣлать? — спрашиваетъ Файамесъ хозяина. Тотъ прищурился и проситъ:

— Сдѣлай мнѣ милость, уступи ему на этотъ разъ. Даю тебѣ слово: уйму его. А сейчасъ—ты видишь: онъ

разозлился, закусилъ удила, не сговоришь съ нимъ. Что дѣлать—самолюбивый дуракъ и упрямый рабъ. Со злости еще, пожалуй, въ самомъ дѣлѣ какую нибудь мерзость устроитъ. Онъ съ чернобожниками свой человѣкъ.

Жалуются Файамесу и пророки:

— Хозяйскій парень этотъ совсѣмъ насъ въ бараній рогъ скрутилъ. Слова наши перевертываетъ по своему, коверкаетъ... Начнешь славу Ормузду, а выходитъ— помилуй насъ, великій Ариманъ!.. Такъ нельзя... Намъ совѣсть не позволяетъ... А чуть скажешь слово напротивъ, кричитъ:—«только мною держится капище! Только ради меня щадятъ васъ ариманіане! Будете супротивничать,— сейчасъ же скажу ариманіанамъ, чтобы раздѣлались съ вами по своему!..»

Говоритъ Файамесъ хозяину:

— Мы не можемъ быть въ зависимости отъ тайнаго чернобожника. Если необходимо, чтобы онъ повелѣвалъ капищемъ, отпусти насъ.

Хозяинъ испугался:

— Братцы! Что вы? Какъ можно? Этакое капище покинуть? Такія дѣла? Помилуйте! Что̀ оно мнѣ денегъ стоило! Что̀ вы здѣсь своего труда положили! Что̀ людямъ добра сдѣлали! Если не меня, бѣднаго, то хоть народъ пожалѣйте, любитъ васъ народъ, привыкъ... какъ ему быть безъ капища? Къ вамъ, вѣдь, онъ ходитъ,—къ парню этому, ослиной головѣ, кто пойдетъ? Пожалѣйте.

— Нѣтъ,—говорятъ одни пророки,—мы уйдемъ.

Другіе мнутся.

А хозяинъ шепчетъ Файамесу:

— Пусть уходятъ. Есть они, нѣтъ ли, мнѣ все равно, только бы ты, да избранные твои остались. А тебѣ нельзя уйти, стыдно уйти. Въ какое положеніе ты меня поставишь? Вѣдь, изъ-за тебя и для тебя я все это капище затѣялъ? Вѣдь, ты меня, выходитъ, разорилъ! Вѣдь, это тебѣ на совѣсть ляжетъ...

— Хорошо,— вздохнулъ Файамесъ,— я останусь и избранныхъ своихъ уговорю. Но ужъ, пожалуйста, постарайся ты, чтобы эти насилія прекратились.

Одни ушли, другіе остались. А на мѣсто ушедшихъ новый начальникъ капища призвалъ своихъ пророковъ, изъ тайныхъ ариманіанъ. Они льстили чернобожникамъ, якшались съ ними, ходили въ ихъ капища, ѣли съ ними жертвенное мясо, хвалили ихъ обряды и громко восклицали:

— Вотъ бы и у насъ такъ!

И смѣялись надъ Файамесомъ. А пророки Файамеса уходили одинъ за другимъ и каждый звалъ его уйти вмѣстѣ. Но Файамесъ любилъ капище, думалъ, что оно нужно Ормузду, и не имѣлъ воли покинуть его.

Въ одну ночь, мучимый безсонницею, лежалъ онъ на кровлѣ капища, а внизу громко бесѣдовали, не подозрѣвая, что старый проповѣдникъ слышитъ ихъ, служки-сторожа.

— Грѣхи съ нашимъ капищемъ: совсѣмъ оно чернобожнымъ сдѣлалось. На устахъ у жрецовъ—Ормуздъ, а на дѣлѣ и въ сердцѣ—Ариманъ. Совѣсть потеряли.

— Недаромъ всѣ пророки покидаютъ насъ. Еще бы! Какъ можно терпѣть? И старый Файамесъ тоже хорошъ!— ему ли еще не совѣстно? Развѣ такое капище онъ обѣщалъ намъ, когда пришелъ изъ пустыни?

— Э, чего отъ него ждать? Капище процвѣтаетъ, доходы текутъ рѣкою, на его долю перепадаетъ много золота... Закупленный человѣкъ! Ослабшій!

— Да, если золото богато плыветъ въ руки, то человѣкъ становится уже не свой, а золота. Ему тогда все равно: Ормуздъ ли, Ариманъ ли,—со всякимъ уживется...

И давно уже перестали разговаривать сторожа, и спали крѣпкимъ сномъ, а темносинее небо стало блѣдно голубымъ, и звѣзды выцвѣли и пропали, и румяный востокъ весело отразился на капищѣ и сдѣлалъ розовою бѣлую

одежду Файамеса... а онъ все сидѣлъ на крышѣ, охвативъ колѣна руками, закусивъ губу, страшно уставясь предъ собою, незрячими отъ тоски и гнѣва, глазами.

— Такъ вотъ до чего дожилъ ты, Файамесъ! Вотъ какъ сталъ думать о тебѣ народъ! И это—твое покаяніе?

А тутъ хозяинъ капища бѣжитъ, веселый такой, кричитъ издали:

— Побѣда, другъ любезный! Торжество! Совсѣмъ мы съ чернобожниками помирились. Завтра будетъ у насъ въ капищѣ главный жрецъ Аримана, скажетъ рѣчь объ единствѣ. А потомъ ты... только ужъ, сдѣлай милость, не осрами: потактичнѣе... А потомъ всѣ расцѣлуемся и заживемъ въ мирѣ и согласіи, за милую душу... Чего намъ, въ самомъ дѣлѣ, дѣлить-то? Они—хоть и чернобожники, а превосходные ребята... Ихъ даже и народъ опять начинаетъ любить... Стало быть, рѣшено: сперва Ариманов жрецъ, потомъ ты...

— Нѣтъ,—мрачно отвѣчалъ Файамесъ.—Довольно. Этого не будетъ. Я ухожу.

— О? Ну, пожалуй, и впрямь лучше тебѣ не говорить. Пусть самъ начальникъ капища скажетъ рѣчь... Оно и почетнѣе для Ариманова жреца, чтобы привѣтствовалъ самый главный.

— Мнѣ все равно. Я ухожу.

Засмѣялся хозяинъ, треплетъ Файамеса по плечу.

— Чудакъ! Куда ты пойдешь? Отъ такой-то благодати? Полно стращать. Не то время. Было тебѣ уходить, пока ты нагъ и босъ трепался, а теперь—посмотри, какой баринъ... Не пугай, не повѣрю. Вѣдь, безъ капища, ты нуль, нищій, опальный человѣкъ!.. А у тебя жена, дѣти...

— Ухожу.

Тутъ хозяинъ ужъ даже и разсердился.

— Ну, и уходи! Надоѣлъ ты мнѣ! Важничаетъ, ломается... все по своему, все не по-людски! Ты думаешь, мы безъ тебя не обойдемся? То-то, что поздно ты уходить собрался. Это, другъ мой, тоже было, да давно про-

шло. Теперь,—была бы тебѣ честь предложена, а, коли не хочешь, значитъ, насъ отъ убытка Богъ избавилъ. Народъ такъ привыкъ къ капищу, что—будешь ли ты съ нами, не будешь ли,—все равно, его отъ насъ палками не отогнать... вотъ что! Поэтому ты не дури, возьмись за умъ, слушайся насъ: мы умнѣе тебя. И—какіе доходы у насъ будутъ! Какія приношенія!.. Въ бриллiанты тебя залью, не то, что въ золото... А безъ капища ты—человѣкъ голый... Не дури!

— Такъ, такъ...—шепталъ Файамесъ,—такъ... Ты совершенно правъ... Я заслужилъ все это, да, заслужилъ... Ты это справедливо...

— Вотъ то-то же... А ворчишь!..

И пошелъ хозяинъ капища прочь. Но Файамесъ кличетъ его:

— Послушай, хозяинъ: не думалъ ли ты иногда такого, что, если человѣкъ что создалъ, то онъ это самое властенъ и разрушить?

Хозяинъ махнулъ рукою:

— Это, братъ, притчи. Ты ихъ своимъ ханжамъ разсказывай: мнѣ, человѣку торговому, слушать тебя некогда...

А Файамесъ взялъ свой носохъ и ушелъ въ пустыню—искать, гдѣ скрываются другіе пророки. Но за городскими воротами осіялъ его лучъ, и всталъ предъ нимъ Нѣкто, свѣтлый и грозный. И сказалъ:

— Куда ты, Файамесъ?

Файамесъ отвѣчалъ:

— Бѣгу въ пустыню, да не буду въ грѣхѣ.

Нѣкто возразилъ:

— Бѣжишь отъ грѣха, а грѣхъ твой такъ и останется позади тебя, чтобы соблазнять людей міра?

Затрепеталъ Файамесъ и отвѣчалъ:

— Научи меня, какъ поступить, потому что я вижу: ты—не отъ земли и говоришь мудро.

Нѣкто сказалъ:

— Я — геній Ормузда и посолъ воли его. Возвратись въ городъ и уничтожь, что̀ попустилъ. Не должно, чтобы именемъ Ормузда говорились слова и творились дѣла Аримановы. Не должно, чтобы въ капищѣ Ормузда таилось капище Ариманово. Не должно, чтобы люди принимали Аримана за Ормузда и губили себя черною ложью, одѣтою въ лучи истины...

И послушался Файамесъ генія, и возвратился въ городъ. Когда онъ пришелъ въ капище, то новые пророки показывали на него пальцами и издѣвались:

— Гордецъ то нашъ, — немного нагулялъ!.. Видно, богаче нашего мѣста не нашелъ... Нѣтъ, братъ Файамесъ, отъ такого золотого дна, какъ твое капище, легко не уходятъ...

Файамесъ спокойно отвѣчалъ:

— Да, вы правы... я теперь вижу самъ, что съ капищемъ моимъ мнѣ не разстаться.

А когда наступила ночь, Файамесъ вошелъ въ капище и собралъ всѣ пелены и одежды, висѣвшія въ немъ, и сложилъ ихъ въ кучу посреди зданія, и вылилъ на нихъ весь елей изъ лампадъ и сосудовъ, и окропилъ елеемъ стѣны и полъ капища. И, совершивъ все это, взялъ съ жертвенника неугасимый огонь и разметалъ угли его по капищу. И вспыхнуло капище, какъ свѣча, и собравшійся народъ не могъ угасить пожара. А Файамесъ стоялъ у жертвенника въ пламени, и нельзя было къ нему подойти ни тѣмъ, кто хотѣлъ его спасти, ни тѣмъ, которые его проклинали. И стоялъ онъ, и смотрѣлъ, какъ пламя бушуетъ и надвигается на него, и горько смѣялся. Красная рдѣющая балка съ потолка рухнула на его голову, разсыпавъ тысячи искръ... Файамесъ упалъ, и на него упало зданіе...

1902.

Минусинскъ.
Посвящается памяти
«Россіи».

Изъ „Зачеркнутыхъ страницъ“.

У одного изъ мировыхъ судей города Петербурга не особенно давно разбиралось дѣло по обвиненію артиста С. въ публичной ѣздѣ по Невскому, верхомъ на французской актрисѣ П. Изъ разбирательства выяснилось, что артистъ С. ѣздилъ верхомъ на француженкѣ П. не съ дурнымъ какимъ-либо умысломъ, но единственно затѣмъ, чтобы показать степень своей близости къ ней, француженкѣ, какому-то уличному ловеласу, который приставалъ къ актрисѣ П. и не хотѣлъ вѣрить, что артистъ С.—ея знакомый. Актриса П. претензіи къ г. С., за наѣздническія упражненія его, не имѣетъ, и даже заявила мировому судьѣ, что у нихъ во Франціи теперь это такъ водится—ѣздить по улицамъ верхомъ на женщинахъ, въ доказательство своего съ ними знакомства.

Узнавъ изъ газетъ о фактѣ столь миѳологической окраски, но, тѣмъ не менѣе, совершенно достовѣрномъ, я отправился къ пріятелю, Эмилію Эрнестовичу де-Бетонъ—старому обрусѣлому французу—показать ему, какія у насъ на святой Руси творятся чудеса въ рѣшетѣ, и разспросить, что и какъ онъ о нихъ думаетъ. Французъ прочелъ, расхохотался и руками замахалъ!

— Не можетъ быть! Это—анекдотъ!

— Однако, у мирового судьи...

— Блага!

— Однако, протоколъ...

— Не можетъ быть! А впрочемъ...

И вдругъ его осѣнило:

— Нашелъ! Я вамъ скажу, что̀ это.

— Ну-съ?

— Это... это—сатира!

— Что-о?

— Ну, да! сатира! политическая аллегорія!

— Богъ съ вами! придетъ же въ голову!

— Я вамъ говорю: сатира! О! ваши журналисты—народъ хитрый! Они знаютъ, что у васъ, въ Россіи—очень много цензуръ, и умѣютъ, какъ находить лазейку между цензуръ...

— Да это простая замѣтка въ ежедневной хроникѣ!

— О! быть сатирикомъ можно даже въ отдѣлѣ отъѣзжающихъ и пріѣзжающихъ, даже въ справочникѣ желѣзныхъ дорогъ.

— Вашими бы устами да медъ пить. То-то бы у насъ Щедриныхъ развелось!.. Ну, хорошо, пусть будетъ по-вашему: сатира такъ сатира. На что же, однако, милѣйшій мой Эмиль Эрнестовичъ?

Онъ даже подпрыгнулъ:

— Какъ на что?! Но, разумѣется, само собою понятно: на нашъ союзъ!

— Франко-русскій?!

— Ну, да! Удивляюсь, какъ вамъ не ясно! У насъ, во Франціи, спросите любого буржуа, и онъ вамъ эту аллегорію размотаетъ, какъ клубокъ нитокъ. Кому же изъ насъ неизвѣстно, что со временъ Тулона и Кронштадта вы, русскіе медвѣди, сѣли Франціи на плечи, и мы веземъ васъ, веземъ, веземъ, какъ добрые першероны...

При этой клеветѣ во мнѣ заговорилъ патріотизмъ, и я сердито перебилъ француза:

— Ну, ужъ извините: это вы у насъ вотъ гдѣ сидите, и мы васъ веземъ, а не вы насъ!

— Нѣтъ, мы васъ!

— Мы!!

— Мы!!!

— А займы?!

— А безъ насъ у васъ Вальдерзее давно бы сидѣлъ парижскимъ генералъ-губернаторомъ!

— А Китай?

— Что̀ Китай! Далеко Китай! Совсѣмъ особь статья! Китаемъ насъ не пугайте: не въ немъ коленкоръ! А вотъ — откачнись мы отъ васъ, и весь вашъ реваншъ тю-тю! Останется, взамѣнъ всѣхъ мечтаній, одна статуя Страссбурга, да и той прусскіе новобранцы насъ отломятъ.

— Вы должны быть намъ признательны!

— Нѣтъ, это вы должны!

— Вы!!

— Нѣтъ, вы!!!

— Если Россія будетъ въ опасности, французы пойдутъ на врага ея, какъ одинъ человѣкъ.

— Дудки!

— Вы смѣете сомнѣваться?

— Чего тамъ сомнѣваться? Увѣренъ. И вы на нашего не пойдете, и мы на вашего не пойдемъ.

— О, да! Мы не забыли исторіи въ Фашодѣ...

— Помнить не лишнее.

— Русскій! Другъ мой! Неужели вы не видите, что удивляете міръ своею неблагодарностью!

— Это объ Австріи принято говорить. Не о насъ. Вы насъ съ Австріей не смѣшивайте: обижусь!

Такія бурныя политическія драмы выходятъ у насъ съ Эмилемъ Эрнестовичемъ почти при каждой встрѣчѣ, что и естественно: я — патріотъ отечества русскаго, онъ — патріотъ отечества французскаго, а извѣстно, что два патріота вмѣстѣ—это сода и кислота, изъ смѣшенія коихъ полу-

чаются шипучки политическаго пустословія. Обыкновенно, отдавъ послѣднему все должное и отъ насъ зависящее, переругавшись всласть и до полнѣйшаго изнеможенія, мы внезапно дѣлаемъ примирительную паузу,—и:

— А все-таки всегда скажу: вы, французы, хотя и никуда не годитесь, а—народъ хорошій.

— Другъ мой! да развѣ я когда-нибудь отрицалъ величіе и достоинства русской націи?

— И Вольтеръ у васъ былъ, и Руссо, и Дидеротъ съ Даламберомъ...

— А у васъ—графъ Алексѣй Андреевичъ Аракчеевъ! Quel géant!

— Да, кабы его къ вамъ, а ихъ къ намъ, такъ, пожалуй бы, и того...

— Еще какое «того»-то!

— Оптовое!

— Сразу два благоустройства!

— Не было ни гроша, да вдругъ алтынъ!

— Вотъ видите. Говорю вамъ: мы и вы созданы для братства!—мы—дѣти одной семьи! Мы и вы,—какъ сказалъ вашъ великій Пушкинъ, который, къ сожалѣнію, не всегда писалъ по-французски,—

Не боимся мы насмѣшекъ,
Мы сроднились межъ собой:
Мы точь въ точь двойной орѣшекъ
Подъ одною скорлупой.

— Vive la France!

— Vive la Russie!

Накричавшись и наславословивши, мы жмемъ другъ другу руки и расходимся, давая взаимно честное слово—не портить впредь своихъ печенокъ возбужденіемъ политическихъ споровъ и разжиганіемъ патріотическихъ страстей.

— Поймите же, дорогой мой,—бія себя въ грудь кулачонками, жалобно говоритъ Эмилій Эрнестовичъ,—поймите, что вы уязвляете мое національное самолюбіе. Не у же я равнодушно слушать колкостей на счетъ того,

что Наполеонъ съ арміей... armée! la grrande armée!.. замерзали въ вашихъ снѣгахъ, на подобіе таракановъ.

— Да и вы, батенька, щадите патріотизмъ ближняго своего. Вы думаете, не болитъ мое русское сердце, когда вы кричите на всю Европу, что у насъ еще существуетъ крѣпостное право, и что наши губернаторы ѣдятъ сальныя свѣчи вмѣсто мороженаго.

Каюсь откровенно,—впрочемъ, и грѣхъ-то въ полъ-грѣха,—даже не знаю: заслуживаю ли я за него порицанія, или Анны на шею,—какъ у г. Сигмы—«за неслужебныя заслуги». Каюсь откровенно: движимый патріотическимъ одушевленіемъ, радѣя о славѣ и доброй репутаціи своего отечества, я, пользуясь легкомысліемъ и довѣрчивостью Эмиля Эрнестовича, многое-таки и привираю въ нашъ россійскій профитъ. Зная необузданный, хотя и буржуазный, либерализмъ почтеннѣйшаго Эмиля, я—когда даю ему свѣдѣнія о строѣ и прогрессѣ нашей родины,—употребляю всѣ усилія, чтобы втереть ему розовыя очки и потрафить на его вкусъ. Я увѣряю его, что въ Россіи отмѣнены тѣлесныя наказанія, *) что мы давнымъ-давно пользуемся благомъ всеобщаго обученія, что рабочій день у насъ—восьмичасовой и т. д., и т. д. Эти невинные обманы тѣшатъ наивнаго француза, какъ ребенка. Онъ прыгаетъ козломъ, потираетъ руки и кричитъ:

— Fichtre!.. Вотъ это—прогрессъ... И, при этомъ, какой порядокъ! какое пониманіе своихъ обязанностей и правъ! Сколько городовыхъ! Ахъ, какой порядокъ!

На что я ему солидно резонирую:

— Порядокъ у насъ, мусье Бетонъ, точно-что большой. Безъ порядку намъ нельзя. Онъ, порядокъ-то нашъ, еще Рюрикомъ, Синеусомъ и Труворомъ заведенъ: варяжскій-съ! Слѣдовательно, на манеръ какъ бы антика выхо-

*) Писано въ 1901 году когда отмѣна тѣлесныхъ наказаній, состоявшаяся въ 1904, причислялась къ лику безсмысленныхъ мечтаній.

дитъ. Такъ-то-съ. Прежде земля наша тоже, вотъ какъ теперь Франція ваша, была велика и обильна, а порядку въ ней не было, но то было еще въ эпоху костомаровскихъ «Сѣверныхъ пародоправствъ». А, — какъ только варяги прибыли,—такъ тутъ сейчасъ же и вышло циркулярное оповѣщеніе: обиліе отмѣнить, Костомаровыхъ упразднить, а прочихъ, выдавъ имъ узаконенные паспорты, считать впредь до судебнаго слѣдствія оправданными...

— То есть, вы хотите сказать: упорядоченными?

— Инъ хоть и упорядоченными: отъ слова не станется...

Послѣ настоящей нашей схватки, изъ-за верховой ѣзды артиста С. на француженкѣ П., мы примирились по обычному расписанію. Я сталъ выхвалять славныхъ мужей и женъ Франціи, онъ любезно возражалъ мнѣ диѳирамбами въ честь исполиновъ Россіи. Правду сказать, разговоръ нашъ въ этомъ направленіи всегда напоминаетъ мнѣ нѣсколько подкаретную игру въ трынку. Я—подъ него—имя! А онъ—имя именемъ покроетъ, да еще имя мазу!

И—такъ какъ онъ знаетъ, что я поклонникъ строгихъ мѣръ и той крѣпкой власти, объ отсутствіи которой искони печалуются «Московскія Вѣдомости», а я знаю, что его и сахаромъ не корми, только полиберальничай съ нимъ, легкоумнымъ, да пусти ему стариннаго «жука»—liberté, égalité, fraternité этакое,—то оба мы стараемся другъ другу угодить, и равновѣсіе трынки получается самое умилительное.. Я подъ него Викторомъ Гюго махну, а онъ Виктора-Михаиломъ Николаевичемъ Муравьевымъ замиритъ, да шлетъ Каткова мазу. Я Жоресомъ козырну, а онъ его—хлопъ! Грингмутомъ покрылъ, да, изъ старой колоды, Ѳаддея Булгарина вынулъ: ну-ка, молъ, побарахтайся, прикрой-ка... И входимъ мы, отъ взаимнаго усердія другъ другу угодить, въ страшный азартъ. Такъ что, бываетъ, я крикомъ кричу:

— У васъ были Видокъ и маркизъ де-Садъ!

А онъ — съ чувствомъ собственнаго достоинства — учтиво парируетъ:

— А у васъ—Константинъ Аполлоновичъ Скальковскій.

— Ah! quel bonheur!

— Ah! quel délice!

— Vive la France!

— Vive la Russie!

— Allons, enfants de la patrie!

— Здравствуй, милая, хорошая моя!

Хоть я и спорилъ съ мусье Бетономъ насчетъ того, кто кого осѣдлалъ и кто на комъ верхомъ ѣдетъ, мы ли на французѣ или французъ на насъ, однако, уходя отъ него, втайнѣ патріотически ликовалъ, что на Невскомъ вышла, именно такая, а не обратная аллегорія—то есть, что вскочилъ россіянинъ на плечи къ француженкѣ, а не француженка къ россіянину. Дружба дружбою, а денежки врозь! И, какіе ни прославляй тамъ альянсы, а предзнаменованія-то пусть, все-таки, говорятъ лучше въ нашу пользу, чѣмъ въ ихнюю!

Обладая хорошею памятью, я сообразилъ, что осѣдланіе русскимъ плечъ француженки—далеко не первый случай, когда мы торжествовали надъ иноплеменниками посредствомъ обращенія ихъ изъ образа и подобія Божія въ образъ и подобіе лошадиные. Уже на зарѣ нашей исторіи лѣтопись взываетъ къ князю Роману Галицкому укорительную пословицу: Романе! Романе! неправдою живеши,—Литвою ореши. А въ сказкахъ Аѳанасьева есть премилые анекдоты о томъ, какъ русскій и татаринъ (варіанты: мордвинъ, нѣмецъ), идя въ долгій путь, условились по очереди нести другъ друга на плечахъ, пока тотъ, кому достанется сидѣть на чужихъ плечахъ, заснетъ. Бросили жребій и напередъ досталось нести русскому. Татаринъ взобрался на плечи русскаго и запѣлъ: талды-булды. Пѣлъ, пѣлъ и заснулъ. Русскій не пронесъ татарина и по-

*

луверсты и грянулъ его съ плечъ оземь. Затѣмъ русскій взобрался на плечи татарина и запѣлъ: тили-тили! Пѣлъ-пѣлъ... такъ долго, что татаринъ тащилъ его на плечахъ верстъ двадцать, усталъ и спрашиваетъ русскаго, на долго ли протянется его пѣсня. «Верстъ на десятокъ потянетъ»,—говоритъ русскій. А татаринъ въ отвѣтъ: «Охъ, твои тили-тили совсѣмъ меня съ ногъ сбили!»... Право, даже и отвѣтъ этого древле-осѣдланнаго россіяниномъ человѣка — въ стилѣ горькихъ подозрѣній мусье Бетона, будто разсказъ газетъ о публичной проѣздкѣ артистомъ С. француженки П. есть хитрая сатира, а самая проѣздка— политическая аллегорія. И не столько знаменательно, что артистъ С. считаетъ лучшимъ средствомъ къ доказательству своей пріязни и близости съ иностранкою—вскочить ей на спину при всей почтеннѣйшей публикѣ: онъ—скиѳъ, а наѣздничество свойственно скиѳу! — сколько важно то обстоятельство, что иностранка подтверждаетъ права скиѳскаго наѣздничества, торжественно заявляя:

— Теперь у насъ это принято!

Какъ хотите, а это... эволюція!

И, хотя вольтеріанцы, въ родѣ мусье Бетона, пытаются не признавать ея, объявляя случай на Невскомъ сказкою, баснею, тщетны ихъ усилія: втайнѣ они и сами чувствуютъ правду, втихомолку ощупываются, нѣтъ ли сѣдла и на ихъ спинахъ, и слышатъ наше, торжественно и побѣдоносно жужжащее надъ ними, «тили-тили»... Молодецъ скиѳъ! торжествуй, Атилла прелюбезная!

Въ наши дни, когда великолѣпная симфонія франко-русскаго союза звучитъ громче и упоительнѣе, чѣмъ когда-либо, мнѣ, однако, слышатся иногда, сквозь ея массивный, величавый наплывъ, одинокія жалкія ноты, плачевно диссонирующія съ ея эффектною полнотою... И, схватывая такую случайную плаксивую ноту на лету, я ставлю ее предъ собою на допросъ съ пристрастіемъ:

— Отвѣтствуй мнѣ, о нота! о чемъ тоскуешь ты и

ноешь въ столь жизнерадостное время, когда у каждаго патріота ликъ долженъ сіять,—по меньшей мѣрѣ,—какъ Русское собраніе?

Нота отвѣчаетъ странныя слова:

— Мнѣ грустно безъ Франціи.

— Безъ Франціи? О, нота! ты бредишь! Ты говоришь величайшую чепуху! Какъ безъ Франціи? Теперь-то? Смотри: вся Франція съ нами,—торжественная, гремящая, самодовольная и самоувѣренная, она—наша, она—счастлива нами...

— О, да, но...

Опять—надтреснутый звукъ.

— Мнѣ грустно безъ Франціи...

— Я отказываюсь понимать тебя, нота! Ты недовольна, что мы мирно завоевали Францію, стали ея щитомъ и покровомъ?

— Ахъ, не то... Я боюсь: мы достигли ужъ слишкомъ многаго... намъ нечего больше отъ нея и желать, намъ дано все—тамъ, во Франціи...

— Объяснись подробнѣе.

— Изволь. Съ тѣхъ поръ, какъ стала созидаться наша цивилизація, Франція культурно и идейно вела насъ за собою,—сейчасъ мы поведемъ ее, куда захотимъ. Свѣтъ ея прогресса былъ для насъ идеаломъ,—сейчасъ нашъ идеалъ взятъ нами на посылки и думаетъ объ одномъ, какъ бы намъ, сильнымъ «варварамъ»,—ибо вѣдь считать-то насъ варварами французы не перестали, да и не за что перестать!—какъ бы намъ угодить и съ нами поладить. Франція была для насъ двѣсти лѣтъ великимъ моральнымъ судомъ, послѣднею инстанціею общественнаго мнѣнія, — сейчасъ она заботится лишь, какъ бы мы ея не осудили, да какое мы будемъ о ней имѣть политическое мнѣніе. Прежде общество наше видѣло во Франціи храмъ апелляціи противъ насъ самихъ и произволовъ нашихъ во имя цивилизаціи и

правъ человѣческихъ. Сейчасъ Франція стала—какъ мы сами. Мы нашли пріятеля, но потеряли учителя. Мы пріобрѣли политическую опору силы и денегъ, но утратили общественно-нравственный идеалъ. Намъ есть съ кѣмъ пройтись, на удивленіе и страхъ Европы, интимно обнявшись, есть съ кѣмъ пропѣть патріотическій дуэтъ, но некому—когда мы виноваты— пожаловаться на насъ самихъ. Мы завоевали великую страну, но духъ, ее созидавшій, отъиде отъ нея, и подружились мы лишь съ мясомъ и костьми ея И вотъ —хлопаемъ мы мясо и кости по плечу запанибрата и ласково говоримъ имъ, посмѣиваясь:

— Что, братъ мусью? Нѣмчуры боишься? Небось, небось, не выдадимъ: теперь ты—нашъ братъ Исакій.

1901.
Октябрь.

Ода.

I.

Взгремите, струны росскихъ лиръ!
Заря восходитъ лучезарна!
Се—отъ министра циркулярно
Порхнулъ съ пакетами Зефиръ. [1])
Зачѣмъ же самъ Зефиръ въ курьерахъ? [2])
Затѣмъ, что вѣсть о кроткихъ мѣрахъ
Нести, конечно, долженъ онъ,
А не Сквозникъ иль Аквилонъ. [3])
Сіи, характеромъ желѣзны,
Во благовременьи полезны,
Но черезчуръ ужъ крутъ и яръ
Ихъ полицейскій формуляръ.
Они, усердствуя, летаютъ,
Когда Зевесъ на насъ сердитъ,—
Когда же розы расцвѣтаютъ,
Зефиръ порхающій летитъ.

II.

Летитъ во округи учебны! [4])
Летитъ, какъ въ вихрѣ легкій листъ!

Летитъ,—и въ честь его молебны,
Ликуя, служитъ гимназистъ.
Отъ необычнаго плезиру [5]),
Готовъ онъ рѣзвому Зефиру,
Въ столь исключительный случай,
Отдать послѣднiй грошъ на чай.
Бросая праздныя тетрадки, [6])
Онъ въ рѣзвой прыгаетъ присядкѣ. [7])
Отъ лѣтнихъ свободясь оковъ [8])
Для дачной прелести круговъ, [9]),
Доступенъ сталъ онъ флирту, спорту! [10])
И зритъ родитель, упоенъ, [11])
Какъ сынъ, пославъ Омира къ чорту, [12])
Шаконну пляшетъ и миньонъ. [13])

III.

За то—чуть вскроетъ попечитель
Зефиромъ поданный пакетъ,
Мрачнѣетъ классиковъ обитель, [14])
И въ единицахъ сласти нѣтъ.
Въ совѣтахъ охи, ахи, эхи, [15])
Рыдаютъ латинисты-чехи, [16])
Впервые прослезился грекъ,
Изъ нѣмцевъ бѣглый человѣкъ, [17])
Стенаютъ классики соборомъ
И восклицаютъ дружнымъ хоромъ:
Сей рядъ классическихъ измѣнъ
Намъ—какъ по темени безмѣнъ! [18])
Вѣдь даже въ синтаксисѣ сбавку [19])
Лѣнивый получилъ школяръ!
Ну, просто—закрывай хоть лавку!
Такой жестокiй циркуляръ!

IV.

Мы строй Россіи опирали
На пользѣ письменныхъ работъ, [20])
И вдругъ: «долой extemporale: [21])
Отъ нихъ нашъ отрокъ—идіотъ!» [22])
Сама комиссія почтенна,
Въ году текущемъ учрежденна,
Для улучшенья среднихъ школъ, [23])
Намъ пишетъ грозный протоколъ:
«Изъ вашихъ panis, piscis, crinis [24])
«Ума никто еще не вынесъ;
«Конструкцій злая кутерьма—
«Не пища, гибель для ума;
«Ко благу ввѣренныхъ народовъ,
«Иной примите нынѣ планъ [25])—
«Безъ зубрежа, безъ переводовъ»...
Et r-r-r-rataplan! plan! plan! plan! plan! [26])

V.

Отъ мѣдныхъ лбовъ сіяя глянцемъ, [27])
Учили въ классахъ мы, шутя:
За педагогомъ-иностранцемъ
Языкъ коверкало дитя.
И вдругъ—угодно-ль для закуски?
Велитъ начальство: знай по-русски! [28])
Да объясняй, да разсуждай,
Что спроситъ школьникъ-негодяй! [29])
Увы! увы! прощай, подстрочникъ,
Всей нашей мудрости источникъ,
Откуда черпай—не робѣй,—

Что «у рыбей, молъ, нѣтъ зубей!».. [30])
И стиля ждетъ отъ насъ, и смысла
Жестокій министерскій листъ.
Надъ головой бѣда повисла:
Ну, кто жъ изъ классиковъ—стилистъ? [31])

VI.

О, нравы! Либералы скачутъ,
Цѣлуясь, будто на Святой, [32])
А въ глубинѣ Аида плачутъ
Катковъ, Леонтьевъ [33]) и Толстой. [34])
Въ стѣнахъ московскаго ликея
Всѣ, отъ начальства до лакея,
Шипятъ-бурлятъ, какъ самоваръ,
И пріунылъ Страстной бульваръ. [35])
Тяжеловѣсенъ и напористъ—
Точь въ точь неправильный аористъ—[36])
Повѣсилъ голову Грингмутъ, [37])
А въ ней свинцу—на сорокъ пудъ! [38])
—Чѣмъ возвращу, речетъ, блаженство?
Чѣмъ слезы съ глазъ моихъ утру?
Ужъ развѣ, что—черезъ контрагенство [39])
Три шкуры съ авторовъ сдеру! [40])

VII.

Увы намъ! съ фаса и съ затылка
Бьетъ либеральная волна! [41])
Отмѣнена въ Сибири ссылка,
Программа наша смягчена. [42])
О, верхъ потачекъ циркулярныхъ!
Какъ, безъ работъ каникулярныхъ.

Созрѣетъ праздный гимназистъ?!
Будь мыслью трупъ, да сердцемъ чистъ! [43])
Сіихъ работъ святое иго [44])
Мальчишкѣ нужно, какъ верига, [45])
Дабы, ея внимая звонъ,
Все помнилъ, что кандальникъ онъ. [46])
Рости, начальникамъ любезенъ,—
Латынью начиненный, умъ!
Смиренномудріемъ полезенъ,
Невѣжда, но не вольнодумъ! [47])

VIII.

Когда жъ, какъ снѣгъ подъ солнцемъ, стаетъ [48])
Задачъ долбежныхъ лѣтній гнетъ,—
Богъ вѣсть, что школьникъ возмечтаетъ:
Пожалуй, Гоголя прочтетъ! [49])
Вамъ синтаксисъ угодно къ шуту-съ? [50])
Но ablativus absolutus
Залогъ былъ мира для ума,
Такой же прочный, какъ тюрьма! [51])
Угодно, чтобы постигали
Мальчишки классиковъ скрижали,—[52])
Что пишутъ Ливій и Тацитъ, [53])
И гдѣ течетъ рѣка Коцитъ? [54])
Но—ахъ! На что имъ, шалопаямъ,
Античной прессы вольный духъ? [55])
Пусть будутъ сыты Ходобаемъ [56])
Отъ девяти часовъ до двухъ! [57])

IX.

За что же, боги, гнѣвъ нежданный
Намъ объявилъ, въ приказахъ быстръ.

Цидулой строгой и пространной [58])
Неукоснительный министръ?
Скажите: по какимъ мотивамъ
Онъ гонитъ ut consecutivum? [59])
Ужель мы, много ерундивъ,
Не оправдали герундивъ? [60])
Для всѣхъ, чья голова не тыква, [61])
Восторгъ—oratio obliqua, [62])
И ужъ, конечно, не позоръ
Нашъ синтаксическій разборъ.
Колико зрѣлище красиво,
Коль отрокъ фразу разберетъ
И сыщетъ cum infinitivo
Аккузативный оборотъ! [63])

X.

Такъ вопіяли педагоги
Во всѣ россійскіе концы,
Но не внимали воплямъ боги:
Знать, умолили ихъ отцы!
И вотъ—живѣй пошло ученье,
Исчезло переутомленье, [64])
И русскій мальчикъ сталъ знакомъ
Немножко съ русскимъ языкомъ.
Программъ починены прорѣхи, [65])
И во-свояси ѣдутъ чехи,
И такъ, вступая въ свой чередъ,
Имъ говоритъ учебный годъ: [66])
Пропали вы—и склепъ вамъ вырытъ!
Валитесь, братцы, всѣ въ провалъ,
Гдѣ ждетъ васъ виѳлеемскій Иродъ, [67])
Что также дѣтокъ избивалъ! [68])

1900.
Августъ.

Ученыя примѣчанія классика.

1) Зефиръ или Фавоній—кроткій западный вѣтеръ, приносящій мягкую погоду. Обычно дуетъ весною, когда корабельщикъ снова отваживается пускаться въ море, и господствуетъ главнымъ образомъ во время лѣтняго солнечнаго поворота (Hom. Od. 5, 295; 12, 28; 14, 158. Hor. Od. 1, 4, 1). Въ Россіи появленіе Зефира—тѣмъ паче въ Петербургѣ и осенью—необычайно и въ высшей степени изумительно, чтобы не сказать: невѣроятно.

2) Сей какъ бы намекъ на унизительность для Зефира курьерскаго званія не весьма разсудителенъ: многіе курьеры въ г. С.-Петербургѣ имѣютъ собственные дома, лучшіе даже, чѣмъ успѣли нажить ихъ начальники. Не исключая министерства финансовъ!!!

3) Сквозникъ или Эвръ и Аквилонъ или Борей—восточный и сѣверный вѣтры, обычные въ нашемъ отечествѣ. Отличаются суровостью и, по упраздненіи миѳологіи, служатъ въ полиціи. Въ г. Петербургѣ вѣяніе Сквозника и Аквилона съ нарочитою замѣтностью ощущается на набережныхъ р. Невы, особливо со стороны Васильевскаго острова. Отъ Сквозника или Эвра происходитъ по прямой линіи знаменитый родъ Сквозникъ-Дмухановскихъ, чрезъ пресловутую разбойницу Татьяну Ростокинскую, коею Сквозникъ, будучи въ нетрезвомъ видѣ, ненарокомъ обольстился.

4) Коихъ Россія имѣетъ дванадесять, не считая трехъ главныхъ управленій гражданскими учебными заведеніями на восточныхъ окраинахъ.

5) Слово галльское. Означаетъ удовольствіе. Не должно быть смѣшиваемо со словомъ блезиръ, обозначающимъ притворство.

6) Предназначавшіяся для переводовъ съ русскаго языка на латинскій и греческій, нынѣ отмѣненныхъ.

7) Танецъ сей въ древности именовался пирриченскимъ.

8) Намекъ на отмѣну задачъ и уроковъ на каникулы.

9) Дачными кругами именуются легкомысленныя сборища, въ коихъ, лѣтнимъ временемъ, юныя обоего пола особы, слушая гласы мусикійскіе, упражняются въ танцахъ, граціи и пріятномъ между собою обращеніи.

10) Важнѣйшія науки наступающаго XX вѣка.

11) Восторгомъ, а не монополькою!

12) Поступокъ легкомысленный, ибо, хотя циркулярами г. министра ослаблено грамматическое изученіе классиковъ, однако пониманіе ихъ все-таки оставлено обязательнымъ, такъ что, при столь непочтительномъ отсылѣ великаго слѣпца къ нечистому духу, вольнодумный гимназистъ легко можетъ быть не удостоенъ аттестата зрѣлости.

13) Современные обольстительные танцы дачныхъ Далилъ.

14) Таковыя въ просторѣчіи именуются гимназіями.

15) Имѣются въ виду педагогическіе совѣты, кои отнюдь не должны быть смѣшиваемы съ венеціанскимъ совѣтомъ десяти, а равно и съ другими ему подобными.

16) Родственный намъ славянскій народъ, выражающій русскимъ свое братолюбіе тѣмъ, что содѣйствуетъ вымиранію ихъ молодого поколѣнія.

17) Бѣглый—обычно уклонившійся отъ исполненія въ отечествѣ своемъ воинской повинности.

18) Орудіе вѣса, которое, находясь въ опытной рукѣ, внушительностью своею равно не только хорошему кистеню, но даже латинскому лексикону Кронеберга.

19) О семъ см. циркуляръ 3-го августа 1900 г.

20) Смотри о семъ въ любомъ № «Московскихъ Вѣдомостей» за послѣднія 40 лѣтъ.

21) Нѣчто въ родѣ испанскаго сапога, надѣваемаго на мозговыя полушарія.

22) Если у читателя есть сынъ-гимназистъ, онъ можетъ, по родительской любви, исключить таковаго изъ сего обобщенія, въ силу правила: о присутствующихъ не говорятъ.

23) Три послѣдніе стиха представляютъ собою точнѣйшее воспроизведеніе начала циркуляра 3-го августа, въ подлинникѣ напечатаннаго, конечно, прозою.

24) Исключенія по 3-му склоненію латинскаго языка, знаменитыя огромною пользою, какую принесли они всѣмъ составителямъ латинскихъ грамматикъ, одобренныхъ учебнымъ комитетомъ къ преподаванію въ гимназіяхъ

25) См. циркуляръ 3-го августа.

26) Стихъ французскій и нѣсколько загадочный. Неясно:—хотятъ ли классики, подражая звукамъ барабаннаго боя, выразить аллегорически, что программа ихъ циркуляромъ какъ бы острижена, по старинному, на барабанѣ? Или же —что они считаютъ циркуляръ какъ бы смертнымъ себѣ приговоромъ, объявляемымъ при барабанномъ боѣ?

27) Сія форма была по вѣдомству необязательна, однако съ усердіемъ носилась наиболѣе приверженными къ дѣлу избіенія русскихъ младенцевъ педагогами чешскаго и нѣмецкаго происхожденія, а равно и тѣми русскими, кои желали быть произведенными въ чехи.

28) Шестой и многозначительнѣйшій пунктъ циркуляра 3-го августа.

29) О нѣжномъ обращеніи классическихъ педагоговъ съ ввѣреннымъ ихъ попеченію юношествомъ существуетъ безконечная литература.

30) Справедливость требуетъ отмѣтить, что одинъ изъ чеховъ-латинистовъ, встрѣтивъ въ подстрочникѣ подобную фразу, не оставилъ ея безъ исправленія, но, по долгомъ размышленіи, вычеркнулъ изъ руководства, написавъ на поляхъ: «Переводильчикъ не есть справедливый. Русски не говоритъ «у рыбей нѣтъ зубей», но говоритъ: «у рыбовъ нѣтъ зубовъ».

31) Имѣются въ виду, конечно, не классики классическихъ литературъ, но классики, преподающіе въ гимназическихъ классахъ.

32) Гипербола ироническая. Тѣмъ болѣе, что либералы на Святой не цѣлуются. Зато ихъ—подѣломъ!—и зовутъ либералами, негодниковъ.

33) Знаменитая въ исторіи русскаго классицизма чета московскихъ публицистовъ, которою наиболѣе рьяные классики нѣкогда предлагали даже замѣнить въ святцахъ Кирилла и Меѳодія.

34) Имѣется въ виду не покойный поэтъ и егермейстеръ, графъ Алексѣй Константиновичъ Толстой, а тѣмъ паче не благополучно-здравствующій Левъ Николаевичъ, который, по мнѣнію классиковъ, зданіе разрушилъ и разложилъ, но покойный графъ Дмитрій Андреевичъ, который, наоборотъ, созиждилъ и упрочилъ.

35) Священное урочище классицизма. Тамъ—по сказанію древняго писателя Щедрина—самъ отецъ лжи въ лавочкѣ сидитъ и распивочно и на-выносъ клеветою торгуетъ.

36) Вещь греческая, но подобная малороссійскимъ канчукамъ: въ большомъ количествѣ нестерпима.

37) Извѣстный «наслѣдникъ Каткова» и русскій столбовой дворянинъ бархатной книги.

38) По всей вѣроятности, намекъ на обиліе шрифтовъ въ арендуемой г. Грингмутомъ университетской типографіи, которые, какъ извѣстно, еще со временъ Гуттенберга льются изъ свинца, въ отличіе отъ колоколовъ, кои льются изъ мѣди.

39) Желѣзнодорожное.

40) Угрозу сію не должно относить къ авторамъ циркуляровъ, огорчившихъ г. Грингмута: скорѣе онъ мыслитъ вымѣстить печаль свою на авторахъ, ввѣряющихъ судьбы своихъ произведеній вышесказанному его желѣзнодорожному контрагентству. Равнымъ образомъ, врядъ ли

допустимо толкованіе угрозы о трехъ шкурахъ, въ буквальномъ ея смыслѣ. Гнѣвный г. Грингмутъ просто обѣщаетъ повысить комиссіонный налогъ на произведенія, продаваемыя въ лавочкахъ контрагентства, съ 50 проц., нынѣ имъ благосклонно взимаемыхъ, до 75 проц., а, можетъ быть, и 90 проц.

41) Правда, за исключеніемъ обиженныхъ классиковъ, никто въ Россіи его не замѣчаетъ, но у классическаго страха и глаза классически велики.

42) Параллели—не столь лестныя, сколь откровенно-выразительныя.

43) Чистота сердечная есть первое благо человѣка, которое древняя мудрость учитъ предпочитать не только остротѣ мысли, но даже опрятности тѣлесной. Такъ, въ старинныхъ русскихъ азбукахъ, подъ литерою Твердо, предлагался къ назиданію отроковъ рисунокъ Трубочиста съ лѣстницею, сопровождаемый полезнымъ правоученіемъ:

Вотъ идетъ Петруша,
Черный трубочистъ,
Хотя тѣломъ грязенъ,
Но душою чистъ.

44) Въ другихъ спискахъ оды имѣется варіантъ:

Сіихъ тенетъ монгольско иго.

45) Вериги древле носили юродивые, чрезъ что спасались.

46) Такъ было и съ Бониваромъ, гражданиномъ женевскимъ, извѣстнымъ изъ поэмы «Шильонскій узникъ», сочиненной лордомъ Байрономъ и, въ переводѣ Василія Андреевича Жуковскаго, допущенной даже въ хрестоматіяхъ Галахова, Филонова и др., принятыхъ въ учебныхъ заведеніяхъ россійскаго министерства народнаго просвѣщенія.

47) Сіи благородныя мысли столь ясны и похвальны, что не требуютъ никакихъ комментаріевъ, а лишь запоминанія всеобщаго.

48) Физическое явленіе, весьма обычное въ природѣ. Замѣчается преимущественно весною, когда, по наглядности своей, дѣлается доступнымъ наблюденію и пониманію даже лицъ, получающихъ классическое образованіе.

49) Русскій писатель отрицательнаго направленія. Caveant consules. Вреденъ!

50) Выраженіе вульгарное, но, въ сосѣдствѣ со стихомъ, гласящимъ о превратномъ Гоголѣ, возможно ли сохранить слогъ возвышенный?

51) И даже прочнѣйшій, ибо изъ тюремъ бѣгаютъ, но отъ ablativus absolutus и ему подобныхъ оборотовъ, коль скоро внѣдрены они въ память человѣческую, смертный избавленъ быть не можетъ.

52) Два сіи стиха представляютъ явное заимствованіе у Александра Сергѣевича Пушкина:

Оставьте насъ! Вы не читали
Сіи кровавыя скрижали...

53) Между сими двумя писателями римской исторіи существуетъ таковая же разница, какъ между благонамѣреннымъ Николаемъ Михайловичемъ Карамзинымъ и презрительнымъ свистуномъ Костомаровымъ.

54) Коцитъ, притокъ Ахерона, рѣка въ Θеоспротіи (Эпиръ), почитаемая иными за адскую, ибо имѣетъ воду грязную, вонючую, противную на вкусъ и вредную для здоровья. Однако, не слѣдуетъ смѣшивать ее съ Екатерининскимъ каналомъ.

55) Словомъ «пресса» авторъ впадаетъ въ нѣкоторый анахронизмъ, ибо древніе періодической печати не имѣли. Но мысль, выраженная въ стихѣ, столь опредѣленна, что можно извинить піиту, если похвальная ненависть къ отвратительному — даже въ классикахъ! — свободомыслію вовлекла его in licentiam poëticam.

56) Родомъ чехъ. Знаменитѣйшій изъ классиковъ, плодотворно изучаемыхъ въ нашихъ гимназіяхъ. Написалъ

высоко-поэтическое и глубоко-философское произведеніе «Грамматика латинскаго языка», проникновенію въ таинственныя глубины котораго обязательно посвящены бываютъ восемь лѣтъ изъ жизни русскаго отрока.

57) А дважды въ недѣлю и до трехъ. При шаловливомъ же характерѣ «шалопая» или при дурномъ знаніи уроковъ, возможно продленіе и еще.

58) Точнѣе было бы выразиться: тремя цидулами.

59) Оборотъ, съ пріятностью котораго для истинно любящаго предметъ свой классика могутъ сравниться только ut finale и ut objectivum. Сіи два послѣдніе обозначаютъ *чтобы*, а ut consecutivum—*такъ что*. Напримѣръ: Circularium ministeriacum multi ita ponimaverunt, ut in otstavcam podavare hotovi essent,—это будетъ ut consecutivum, послѣдовательный. А если на эту фразу отвѣчено будетъ: Soisvolamus, ut provaliveatis ad diabolum,—это, ко всеобщему удовольствію, будетъ уже ut objectivum, а для многихъ классиковъ и ut финальный.

60) Герундивъ есть отглагольное прилагательное о трехъ окончаніяхъ. Нѣчто въ родѣ грамматическаго цербера, изрыгающаго тремя пастями страшныя слова. Замѣчателенъ тѣмъ, что отчасти употребляется, какъ страдательное причастіе настоящаго времени, отчасти означаетъ долженствованіе. Такъ, чиновникъ, который алчетъ производства, но страдаетъ, не удостаиваясь онаго, и чиновникъ, уже представленный къ слѣдующему чину, по латыни, въ герундивѣ будутъ одинаково—proisvedendi, произведендусы.

61) Сей овощной плодъ (Cucurbita pepo) попалъ въ стихи, очевидно, исключительно ради слѣдующей риѳмы.

62) Oratio obliqua—косвенная рѣчь, излагающая чужую рѣчь отъ авторскаго лица, въ зависимости отъ глаголовъ sentiendi или dicendi. Весьма широкое, хотя и секретное, распространеніе имѣетъ въ канцеляріяхъ, департаментахъ и т. п. учрежденіяхъ. Индѣ называется сплетничествомъ и па-

ушничествомъ, хотя, по существу, является совсѣмъ инымъ, болѣе благороднымъ оборотомъ.

63) Cum infinitivo, т. е., съ неопредѣленнымъ наклоненіемъ, употребляются падежи именительный и винительный, nominativus cum infinitivo и accusativus cum infinitivo. Разница оборотовъ, главнымъ образомъ, въ томъ, что за второй гимназисты получаютъ болѣе единицъ, чѣмъ за первый, ибо послѣдній рѣже встрѣчается.

64) Модное слово, ставшее пугаломъ родителей, отдающихъ дѣтей своихъ въ среднія школы. Должно предупредить читателя, что въ семъ стихѣ, равно какъ и въ послѣдующихъ авторъ воспѣваетъ не настоящую дѣйствительность, но тотъ золотой вѣкъ Астреи, который наступитъ для русскаго просвѣщенія въ будущемъ, при посредствѣ циркуляровъ, какъ уже изданныхъ, такъ и ожидаемыхъ съ нетерпѣніемъ, въ томъ же духѣ. Срокъ ожиданій: послѣ дождика въ четвергъ или—когда ракъ свистнетъ.

65) Сіе ожиданіе гиперболично, но кто въ силахъ обуздать фантазію піиты, когда Пегасъ мчитъ его на Геликонъ?

66) Будемъ надѣяться, что наступающій 1900—1901-й, а не 2000-й.

67) Сей Иродъ, прославленный избіеніемъ въ городѣ Виолеемѣ 40.000 неповинныхъ младенцевъ, не безъ основанія почитается родоначальникомъ классической системы образованія и патрономъ ея приверженцевъ.

68) Къ слову *также*. Изъ сего оборота не слѣдуетъ, однако, чтобы Иродъ былъ директоромъ гимназіи въ Виѳлеемѣ или преподавателемъ латинскаго языка Воспитательный методъ истребленія, примѣненный имъ къ 40.000 младенцевъ, былъ гораздо проще, быстрѣе, а потому даже и гуманнѣе.

Сказка о мужикѣ Иванѣ и о старомъ Змѣѣ Горыничѣ.

Въ нѣкоторомъ царствѣ, не въ нашемъ государствѣ, въ этакихъ мѣстахъ, въ этакихъ большихъ деревняхъ, жилъ-былъ мужикъ, по имени Иванъ. Мужикъ рослый, здоровый, мужественный и, хотя дѣтный и обложенный податями превыше головы, а все еще шибко богатый. Земли у него было изрядное множество — ажъ до края свѣта, а дальше ужъ море-окіянъ текъ, откуда по утрамъ зори солнце выводятъ. На самомъ же краю свѣта, промежъ моря-окіяна и мужиковой земли, лежалъ старый-престарый Змѣй Горыничъ. И, какъ онъ лежалъ аккуратъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ небо съ землею сходится и прачки вѣшаютъ мокрое бѣлье сушиться на облака, то почитали его люди сыномъ неба и стражемъ небеснымъ. И тянулся тотъ Змѣй Горыничъ на многія версты и былъ весьма широкъ и толстъ. Такъ что—хотя земли у Змѣя Горынича было всего только, что у него подъ брюхомъ, да что лапами прихватилъ, однако пропадала черезъ то даромъ превеликая палестина угодьевъ. И столь превосходная, что ближніе господа-помѣщики, которые изъ баръ и въ дворянскомъ банкѣ позаложившись, только языками пощелкивали, да печаловались другъ дружкѣ:

— Просто уму непостижимо, господа дворяне, сколько

подъ этою глупою скотиною чернозему погибаетъ. Ежели бы теперича намъ съ вами ее съ мѣста выжить, да черноземъ этотъ между собою подѣлить, большое мы пріобрѣли бы богатство,—ажно и внукамъ, и правнукамъ за глаза станетъ.

Что Змѣй Горыничъ былъ скотина глупая, въ томъ господа-помѣщики правы были. Глупая и смирная. Занятіевъ-службы у него, почитай что, никакихъ не было, потому что небо—что жъ его сторожить? Туда, опосля Ильи Пророка, живымъ-то никто и не посыкивался. Умъ, который смолоду имѣлъ, Змѣй отъ старости прожилъ, науки перезабылъ, торговлею и ремеслами не занимался,—такъ, по всему тому, отъ большой скуки, проводилъ время больше сонным дѣломъ. Съ господами-помѣщиками, по необразованію своему, не знался, а съ мужикомъ Иваномъ жилъ ни въ ссорѣ, ни въ мирѣ. Такъ нужно сказать: большой надобности другъ въ дружкѣ не видали, а сосѣди были хорошіе. До того даже, что Змѣй позволилъ протоптать черезъ хребетъ свой особую тропу отъ самой мужиковой избы прямо на окіянъ-море, чтобы Ивановымъ бабамъ было спорѣе на портомойню ходить, а ребятамъ сѣти таскать, заколы бить, да невода закидывать.

Пролежалъ Змѣй Горыничъ на мѣстѣ сорокъ вѣковъ, и пожаловалъ ему Богъ за выслугу лѣтъ золотую чешую. Лежитъ Змѣй, на солнцѣ поблескиваетъ, а господа-помѣщики смотрятъ на него издали, черезъ заборъ и отъ аппетита даже слюною исходятъ:

— Ахъ, животное! Да есть ли въ тебѣ разумъ то, чтобы понять, какая ты еси золотая валюта?

Какъ ни глупъ былъ Змѣй, а догадался, что господа-помѣщики не съ добромъ на него зарятся, и началъ потрухивать:

— Ахъ, ограбятъ меня, сироту, какъ пить дадутъ, ограбятъ. Потому—народъ слабкій: земли у нихъ—только

столъ поставить, да къ столу судебному приставу сѣсть, чтобы опись имуществу сдѣлать.

И сталъ онъ кланяться мужику Ивану.

— Не покинь шабра, другъ Ванюша! Жили мы съ тобою кои вѣки въ согласіи, пальцемъ другъ друга не тронули; а у господъ нынѣ, какъ я замѣчаю, на чешуйку мою глаза горятъ. Такъ ужъ, чѣмъ ихъ баловать, наѣзжихъ людей, лучше я порадѣю тебѣ, сосѣду извѣчному. Все же ты человѣкъ простой, имѣешь крестъ на шеѣ; коли и попользуешься какою малостью, то не до семи же шкуръ, а съ умѣренностью, честь зная. Прочихъ же не допущай!

— Зачѣмъ допущать?—говоритъ Иванъ, — разсчета нѣту. Али я своему счастію дуракъ? А насчетъ обдеру, истинно тебѣ, Горыничъ, скажу: вовсе не драть тебя никакъ невозможно потому—простъ ты очень, и чешуя у тебя хороша. Но, что я крестъ на шеѣ имѣю, это ты правильно разсудилъ. Пользоваться я отъ тебя, Горыничъ, буду, но такъ намѣренъ соблюдать, чтобы — по совѣсти и безъ лишнихъ безобразіевъ: чешуи драть не стану, а, коли иной разъ этакъ метелочкою съ тебя пыль пообмахну, на томъ не взыщи.

Стали они жить, да поживать, да добра наживать. Надоть Ивану недоимку вносить, а денегъ у Ивана не припасено,—ништо! взялъ метлу, обмахнулъ Змѣя,—анъ, глядь, прутья-то всѣ въ золотѣ, вотъ-те, стало быть, и деньги!

Долго ли, коротко ли, разбогатѣлъ Иванъ, возвеличился, и всѣ ближніе господа-помѣщики стали его очень бояться и почитать. На что ужъ предводитель дворянства, баронъ Фридрихъ-Амалія-Карлъ Карловичъ Шпицбубе фонъ-Мюнхгаузенъ: важный былъ господинъ, по прямой линіи отъ крестоносцевъ происходилъ и всѣмъ, по старой памяти, кованымъ въ броню кулакомъ грозился,— а и тотъ, бывало, какъ встрѣтитъ Ивана, сейчасъ ему руку протягиваетъ, да и не въ перчаткѣ, и не палецъ либо два, какъ всѣмъ прочимъ, а цѣлую голую пятерню:

— Ви бифинденъ зи зихъ, Иванъ Петровичъ? Гутъ или не очень гутъ?

— Гутъ-то гутъ,—говоритъ Иванъ,—а вотъ зачѣмъ ты, ваше превосходительство, свиней да гусей моихъ задерживаешь, не пропущаешь на рынокъ скрозь свое имѣніе? Оттого мнѣ большой убытокъ. Грѣхъ тебѣ,—сосѣди, чать!

— Ну, не сердись, Иванъ Петровичъ,—зачѣмъ сердиться? Мы съ тобой на другой собакѣ сойдемся.

Особливо же возлюбилъ Ивана веселый баринъ Альфонсъ Альфонсовичъ, мусье Гильоме. Сей мусье, бывъ принужденъ бѣжать изъ отечества своего, по несогласіямъ съ полиціей правовъ, онъ же говорилъ—по причинамъ политическимъ,—жилъ первоначально въ городѣ Петербургѣ въ подмастерьяхъ у самаго перваго парикмахера на Большой Морской. Но, какъ былъ патріотъ и неуклонно мечталъ о реваншѣ, то однажды, стригучи атташе германскаго посольства, оттяпалъ ему ножницами полъ-уха. За такое эльзасъ-лотарингское геройство хозяинъ выгналъ Гильоме вонъ; онъ же, не унывая, поѣхалъ гувернеромъ, на кондиціи, въ деревню къ русскому помѣщику Митрофану Простакову и, проживъ у него многіе годы, присоединилъ къ парижскимъ своимъ пріятностямъ то немаловажное дарованіе, что выучился пить водку и пѣть русскія пѣсни. Когда Митрофанъ Простаковъ, частію отъ огорченія эмансипаціей, частію отъ ботвиньи съ бѣлужиной, волею Божіею помре, Гильоме вдову его, Софью Милоновну, безъ труда обольстилъ и, сочетавшись съ нею бракомъ, самъ въ помѣщики вышелъ. Въ качествѣ француза,—ибо кому же неизвѣстно, что французъ есть Вольтеръ?—Гильоме слылъ по уѣзду первымъ либераломъ, хотя, на самомъ дѣлѣ, былъ только безгранично легкомысленъ и женолюбивъ. Шпицбубе фонъ-Мюнхгаузенъ страхъ его не любилъ и двѣ пустоши у него оттягалъ; Гильоме же, хотя и скитался по судамъ, тщась оныя возвратить, но только всуе на адвокатовъ тратился, да начальство жалобами утруждалъ. И,

такъ какъ Иванъ-мужикъ накопилъ противъ Шпицбубе фонъ-Мюнхгаузена тоже не одну досаду, то стали они съ Гильоме первые друзья. Всѣ праздники—вмѣстѣ: пообѣдаютъ,—ужасно много они обѣдали!—и пошли гулять по базару, въ обнимку, цѣлуются, ура кричатъ и пѣсни играютъ. Гильоме камаринскую норовитъ, а Иванъ по-французскому не обученъ, такъ на гармоникѣ марсельезу наяриваетъ. И столь это у нихъ складно выходило, что другіе господа-помѣщики только диву давались, а Шпицбубе фонъ-Мюнхгаузенъ даже и призадумывался:

— Какой, однако, между ними альянсъ-франко-рюссъ!

Вотъ до чего превозвысилъ себя Иванъ: сталъ его уважать самъ Джонъ Джемсовичъ Булль, нелюдимый хозяинъ сталелитейнаго завода. А мистеръ Булль ни съ кѣмъ изъ сосѣдей не знался и всѣхъ почиталъ ниже земляныхъ червей. Потому что былъ самимъ собою очень много доволенъ: пришелъ онъ въ нѣкоторое царство нищимъ-мальчонкою безъ штановъ, а потомъ, казенныя субсидіи и подряды получивъ, въ большого милліонщика разжился. Доходы въ Англію отсылалъ, но зубы рабочимъ чистилъ кулакомъ болѣе, чѣмъ по-русски. Когда же мировой приговаривалъ его за мордобойство къ штрафу или на Казачьемъ плацу сидѣть, мистеръ Булль писалъ своему консулу жалобу на угнетеніе великобританскаго подданнаго, и заваривалась такая международная каша, что изъ-за нея уже трое мировыхъ повѣсились на собственныхъ своихъ цѣпяхъ. Но и грозный Джонъ Джемсовичъ, чуть завидитъ, бывало, съ веранды своего коттэджа, что Иванъ, громыхая подводою, въѣзжаетъ на заводскій дворъ, вынималъ сигару изо рта, а руки изъ брючныхъ кармановъ, ухмылялся отъ одной рыжей бакенбарды до другой и любезно приглашалъ:

— Русски звинь... стаутъ хочешь?

Ибо иныхъ ласковыхъ словъ не зналъ, будучи больше привыченъ ругаться съ рабочими.

Съ Джономъ Джемсовичемъ по портерамъ, съ Альфонсомъ Альфонсовичемъ по коньячкамъ, съ барономъ—пивка, съ тѣмъ-другимъ—иного прочаго; только и дѣла стало у Ивана, что чаи-сахары по гостямъ разводить, да у себя господъ принимать—что есть въ печи, все на столъ мечи. Жуируетъ жизнью во всю подоплеку, а, чтобы не подъ сухую веселиться, выписалъ изъ губернскаго города Анджело Мазини, шарманщика итальянскаго: навертывай—«Среди долины ровныя»!

Но, сколько Мазини арій на шарманкѣ ни навертывалъ, ни одной мужикъ Иванъ не любилъ больше, чѣмъ—«Куды ты, ангелъ мой, стремишься?» Такъ что, слушая ее, даже плакалъ и, утирая слезы кулакомъ, приговаривалъ:

— Господь же меня знаетъ, куда я стремлюсь?!

Выбрали было господа Ивана гласнымъ въ земство,—только тамъ онъ, по мужицкому простодушію своему, скандалу надѣлалъ. Дали ему слово, какъ путному, онъ и пошелъ растабарывать предъ господами.

— Надо, господа сосѣди, жить не по песски, но по божески... не такъ, чтобы все угрозою, да сварою, какъ вы промежъ себя грызетесь, надо дать время и мирному ангелу полетать... Что хорошаго? Мусье на барона ярится, баронъ на мусье — обоимъ разоръ: однимъ подъячимъ — что денегъ переплачено! А ну-те-ка, благословясь,—обымемъ другъ друга, рцемъ, братіе, и ненавидящимъ насъ простимъ. Худой миръ лучше доброй ссоры... Христосъ-то что велѣлъ? Ну-те-ка, братцы, господа честные,—ась?

Очень Иванъ тогда господъ-помѣщиковъ оконфузилъ. Даже Гильоме на него обидѣлся. Потому что онъ, какъ нарочно, только что приноровился подложить барону Шпицбубе фонъ-Мюнхгаузену здоровеннѣйшую свинью, а мужикъ Иванъ вдругъ ему—про Христа!.. И стали тутъ господа-помѣщики на мужика руками махать.

— Оставь, братъ Иванъ, пожалуйста, эти рацеи.

Разговоръ у тебя чувствительный, но, что касается политичнаго обращенія, ты еще мало каши ѣлъ.

И порѣшили: впредь гласному Ивану-мужику въ земствѣ съ господами засѣдать, но въ ораторство не вдаваться, понеже говоритъ онъ не отъ политики и черезъ то можетъ всегда господъ осрамить и цивилизацію нарушить.

Долго ли, коротко ли, за всѣми тѣми дѣлами и забавами, мужикъ забылъ и думать о Змѣѣ Горыничѣ, каково-то онъ на краю свѣта полеживаетъ. А полеживалъ Змѣй не ахти какъ хорошо, и не такъ, чтобы очень весело.

Однимъ раннимъ утромъ, когда еще черти на кулачки не бились, а мужикъ Иванъ, угостившись съ вечера у мусье Гильоме, на палатяхъ третій сонъ видѣлъ, чуетъ Змѣй: больно саднитъ у него въ правомъ боку, что на море-окіянъ выходитъ.

— Кто тамъ? спрашиваетъ Змѣй.

— Я тамъ.

— А кто ты таковъ?

— Джонъ Джемсовичъ Булль, эсквайръ, фабрикантъ, заводчикъ и просвѣщенный мореплаватель.

— Откуда ты, пострѣлъ, взялся? Вѣдь сказано Ивану-мужику: никого изъ вашей братьи ко мнѣ не допущать.

— Иванъ твой кое время на палатяхъ храпомъ храпитъ. Да мнѣ въ немъ и страху большого нѣту: кабы я черезъ его землю прошелъ,—другое дѣло. А я къ тебѣ подвалилъ по свободному море-окіяну, на собственномъ пароходѣ, подъ великобританскимъ флагомъ.

— Что же, — говоритъ Змѣй, — тебѣ, господинъ эсквайръ, угодно? И что ты тамъ такое у меня въ боку пакостишь, отчего мнѣ саднитъ?

— Очень просто, что,—отвѣчаетъ Джонъ-Булль, — я съ тебя чешую деру.

Разсвирѣпѣлъ Змѣй.

— Какъ же ты, такой-сякой, смѣешь съ чужого тѣла чешую драть?! Ну, счастливъ твой Богъ, что кости у меня

стычныя, обернуться мнѣ на тебя тяжело: показалъ бы я тебѣ, гдѣ раки зимуютъ. Да вотъ погоди: проснется Иванъ, пріятель мой вѣрный, онъ те пропишетъ ижицу!

— О, нѣтъ,—отвѣчаетъ Булль,—онъ ижицы не пропишетъ.

— Что такъ?—силенъ ты ужъ очень, что ли? Слыхали мы, братъ, тоже и про тебя,—ты вѣдь, рыжій дьяволъ, только съ виду важенъ, а на дѣлѣ-то тебя собственные твои пастушонки поколачиваютъ.

Джонъ Джемсовичъ ему на то въ отвѣтъ:

— Потому я не боюсь Ивана-мужика, что вчера онъ самъ намъ у Гильоме жалился, что ему одному за тобою не усмотрѣть: очень ужъ ты великъ выросъ. И положили мы съ нимъ по-сосѣдски, чтобы блюсти тебя вдвоемъ—онъ съ сухого пути, а я съ моря. Вотъ, видишь, какой ты, сэръ Змѣй Горыничъ, глупый и неблагодарный: мы твое благополучіе устрояемъ, а ты рычишь, брыкаешься, пускаешь хулу. Рыжимъ дьяволомъ меня обозвалъ, насчетъ пастушонковъ нехорошо намекаешь. Развѣ можно такъ обращаться съ великобританскимъ подданнымъ? Счастье твое, что я человѣкъ торговый и миръ люблю: больше трехъ ссоръ въ сутки не затѣваю. Не то я сейчасъ закатилъ бы тебѣ такое дипломатическое представленіе, что—не прочухаться тебѣ до вторыхъ вѣниковъ!

Усомнился Змѣй, разбудилъ мужика Ивана.

— Правду иль нѣтъ сказываетъ Джонъ Булль о твоемъ съ нимъ соглашеніи?

Но Иванъ, какъ вечорась весьма монополіей ошибся, только глазами хлопалъ, въ затылкѣ чесалъ, да руками разводилъ:

— Ничего,—говоритъ,—не помню, окромя того, что былъ въ обществѣ трезвости монополіей покоренъ и дворянскому предводителю Кожину по сему случаю землю за безцѣнокъ продалъ. А, впрочемъ, такъ надо думать,—Джонъ Джемсовичъ врать не станутъ. Господинъ настоящій,

образованный, не то, что нашъ братъ-сиволапъ. Мы въ лѣсу живемъ, молимся пенью, да и то съ лѣнью; на верею крестимся, а Бога во щахъ слопали. А онъ, братъ, всякую науку-этику произошелъ, такъ что надувать и жульничать ему не только заповѣдь Божія, но и Милль-Спенсеръ не велятъ. И ужъ ежели онъ взялся сторожить твое добро, будь благонадеженъ: устережетъ! Вотъ до чего устережетъ: самъ для себя просить станешь,—и то не дастъ.

— Вотъ тебѣ разъ! Аль я въ своемъ добрѣ не воленъ, въ своемъ дому не хозяинъ?

— Не дастъ, и шабашъ. Скажетъ: тебѣ на баловство, а у меня цѣлѣй будетъ. Я, братъ, ихъ, англичановъ-то, знаю. У меня самого Джонъ Юзъ землю арендуетъ,—такъ ты къ нему и не подступись.

— Yes,—поддакиваетъ Джонъ Джемсовичъ,—у меня цѣлѣе и не подступись! Ибо ты, сэръ Горыничъ, и ты, мистеръ Иванъ. оба большіе звинь и не можете быть безъ сивилизэшенъ и протекторатъ.

Поклонился Иванъ и по своему хозяйству хлопотать пошелъ. А Змѣй смутился. Оно и лестно, что этакая особа взялась счастіе его составить, а съ другой стороны — и жутковато какъ бы.

— Почему же ты, сэръ,—сказалъ онъ,—если взялся меня сторожить, взамѣнъ того, самъ первый меня обдираешь?

— А въ возмѣщеніе расходовъ: даромъ я что ли по морю-окіяну пароходъ гонялъ?

— Такъ вонъ и Иванъ-мужикъ меня не даромъ сторожитъ, однако, чешую не деретъ, а только золотую пыль метлою обмахиваетъ.

А Джонъ Джемсовичъ шепчетъ ему на ушко:

— Эхъ ты, простота! Не видишь развѣ, что за то онъ обмахиваетъ тебя *всего*, а я, какъ человѣкъ деликатный, деру до живого мяса только въ *одномъ* мѣстѣ. Кто же изъ

насъ выходитъ справедливѣе? Ему всего тебя подай, а я и кусочкомъ доволенъ.

Очень онъ Змѣя этою логикою поразилъ. Такъ, что тотъ даже, впервые за эти года, покосился на Иванову избу съ подозрѣніемъ:

— Ишь-дескать, что умные люди говорятъ. А ну, какъ и впрямь ты только прикидываешься пріятелемъ, а на дѣлѣ-то выходишь лукавый мужиченко? А еще хвастался, что будетъ безъ безобразій... По всей моей шкурѣ метлу пустилъ: какого безобразія еще больше набезобразить возможно?

И запало Змѣю въ сердце неудовольствіе на Ивана, а съ Джономъ Джемсовичемъ онъ заговорилъ уже много ласковѣе:

— Инъ-правда твоя. Что-жъ? надо и тебѣ кормиться. Только ты ужъ хоть поосторожнѣе какъ нибудь дери, чтобы мнѣ полегче было, а то, вѣдь, просто хоть кричи крикомъ.

— О!—сказалъ Джонъ Джемсовичъ,—объ этомъ не безпокойся: у насъ на всякую боль лѣкарствіе есть.

И, вынувъ изъ кармана коробокъ опійныхъ пилюль, угощаетъ Змѣя: у насъ—про васъ, кушайте, милости просимъ!..—Наглотался Змѣй спадобья и заснулъ богатырскимъ сномъ. Мистеръ Булль съ него золотые ремни кроитъ, а ему и горюшка мало. Проснулся Змѣй, облизнулся, а Булль ему—еще пилюлю, да еще, да еще... и полюбилъ Змѣй тѣ пилюли до страсти и по цѣлымъ днямъ отъ нихъ въ безчувствіи валялся, а Джонъ Джемсовичъ знай-ухмылялся въ бакенбарду, да ремни кроилъ.

По нѣкоторомъ времени слышитъ Змѣй, сквозь тяжкій опійный сонъ, будто что-то у него надъ ухомъ зудитъ, словно монашка надъ покойникомъ начитываетъ.

— Это что еще?

— Я это!—отвѣчаетъ ему голосокъ слаще меду.

— Кто таковъ?

— Аббатъ Жоржъ Дорси, мусье Гильоме племянникъ, смиренный инокъ коллегіи Сердца Іисусова.

— Чего же тебѣ, господинъ аббатъ, отъ меня надобно?

— Замѣтилъ я, monsieur Змѣй, что вы безъ вѣры живете и тѣмъ непремѣнно погубите свою душу и угодите въ адъ. И я поспѣшилъ придти, чтобы обратить васъ къ истинному Богу и наставить на правый путь.

— Чувствительнѣйше тебѣ благодаренъ. Только вотъ что: говоришь ты, будто Гильоме племянникомъ приходишься,—такъ ты бы его сперва обратилъ. А?

— Oh, monsieur! Дядя мой осужденъ безвозвратно, осужденъ навѣки. Ибо онъ республиканецъ, вольтеріанецъ и либрпансеръ. Вообразите себѣ: онъ меня, родного племянника и благочестиваго человѣка, собственноручно выгналъ изъ дому только за то, что я проповѣдовалъ ему непогрѣшимость и свѣтскую власть святѣйшаго отца нашего, римскаго папы... Va-t-en, Satan!—и колѣнкою сзади.

— Слыхалъ я про эту власть,—говоритъ Змѣй,—нечего сказать, хорошую штучку придумали! Неудивительно, если у Гильоме на тебя колѣнка зачесалась. Ну, а еще что врать станешь?

— Если угодно, за нѣсколько штучекъ вашей драгоцѣнной чешуи я могу вамъ дать отпущеніе грѣховъ въ сей жизни и будущей... Очень много берутъ, и всѣ господа покупатели весьма одобряютъ.

— Ну, какіе у меня грѣхи? Я Змѣй старый. Уже—и какъ грѣшать-то—позабылъ. На что мнѣ твое отпущеніе?!

— Затѣмъ, берусь слѣдить за вами, чтобы вы не уклонились въ еретичество.

— А если уклонюсь?

— Oh, monsieur! Для уклоняющихся у насъ, смиренныхъ иноковъ, было въ старину превосходное исправительное средство: ихъ ставили живыми на костеръ и поджари-

вали, пока они не раскаются, послѣ чего возрожденная душа ихъ улетала прямо въ рай... Такъ что, если вы будете любезны разрѣшить...

— Нѣтъ-съ, не буду любезенъ! съ ума я, что ли, сошелъ?—вскричалъ Змѣй:—дайся ему на кострѣ печься!

Махнулъ Змѣй на аббата лапою: пошелъ-молъ туда, откуда пришелъ!—и, опіуму глотнувши, опять захрапѣлъ. А Жоржъ Дорси не будь глупъ: выждалъ, покуда у Змѣя сонъ закрѣпчалъ, и давай лущить чешую у него прямо со лба. Но, чтобы люди думали, что онъ лущитъ не для корысти, но для вѣры, то, луща, воспѣвалъ: «Te Deum laudamus» и, какую чешуйку слущитъ, сейчасъ же на мѣстѣ ея вырѣзывалъ ножикомъ по живому мясу крестикъ. А слущенное отсылалъ въ Римъ, въ фондъ fidei propagandae—на борьбу съ вольтерьянствомъ дяди Гильоме и восточною схизмою мужика Ивана.

Кончилъ мужикъ Иванъ по хозяйству хлопотать. Пришелъ взглянуть на Змѣя—только руками всплеснулъ, да ужаснулся. Чешуи на Змѣѣ—половины какъ не бывало, кровища изъ него такъ и валитъ, а кругомъ народу видимо-невидимо, со всѣхъ помѣщичьихъ усадебъ. Даже Анжело Мазини, шарманщикъ итальянскій, Змѣя за ушко тянетъ; даже Марья Богдановна, бабка-голанка, съ перочиннымъ ножикомъ въ хвостѣ ковыряется. Набрался Иванъ храбраго духа и сталъ было господъ-помѣщиковъ усовѣщивать. Какъ вскинутся на него всѣ:

— Мужикъ! Что ты понимаешь? Развѣ мы худое что дѣлаемъ? О его же благѣ заботимся: сивилизэшенъ ему въ самое нутро вгоняемъ!

А Фридрихъ-Амалія-Карлъ Карловичъ Шпицбубе фонъ-Мюнхгаузенъ даже пригрозилъ Ивану закованнымъ въ броню кулакомъ:

— Хабенъ зи гевидѣлъ?

Плюнулъ Иванъ и прочь пошелъ:

— Ну васъ, говоритъ, къ ляду! Отъ васъ лучше подальше: того гляди, уголовщина выйдетъ,—въ свидѣтели попадешь!

А помѣщики всѣ—вслѣдъ ему хоромъ;

— Ахъ, скажите, какая невинность. Небось, когда самъ безобразишь, это—ничего, а, если другіе—не дураки и тоже пользоваться Змѣемъ хотятъ, такъ ты сейчасъ и объ уголовщинѣ?

Сконфузился Иванъ и, сдѣлавъ видъ, будто не слышитъ, затворился въ своей избѣ, ибо этого,—чтобы ему о безобразіяхъ напоминали,—онъ, чувствительную совѣсть имѣя, отродясь терпѣть не могъ.

Долго ли, коротко ли, слышитъ Иванъ ревъ нѣкакій, словно разгудѣлось окіянъ-море. Глядь-поглядь, бѣгутъ къ нему всѣ господа-помѣщики: лица ни на комъ нѣтъ,—души отъ страха изъ пятокъ выглядываютъ.

— Представь, — кричатъ, — дружище-Иванъ, Змѣй твой проклятый взбѣсился!

Глянулъ Иванъ черезъ заборъ—такъ и ахнулъ: ужасти, что такое! Реветъ Змѣй не своими голосами, мечется, инда пыль столбомъ до неба летитъ, подъ каждую лапу по человѣку зажалъ, а въ пасти аббата Жоржа Дорси держитъ, да со щеки на щеку его жуетъ-перекидываетъ. Спина ощетинилась, горбомъ встала,—дорожки, по которой Ивановы бабы на портомойню ходили, и въ поминѣ нѣтъ. Хвостище у Змѣя такъ вертуномъ и ходитъ. Чего ни коснется,—въ муку! Деревья съ корнемъ рветъ, бревна за облака швыряетъ.

Только свистнулъ Иванъ:

— Однако,—говоритъ,—ловко! Съ чего бы это онъ?

— Не знаемъ, — отвѣчаютъ господа, — истинно не знаемъ. Должно быть, закормилъ ты его; съ хорошаго корму бѣсится, съ жиру, отъ большой сытости.

Удивился Иванъ. Зналъ онъ, что Змѣй постникъ и, кромѣ рису, въ ротъ нечего не беретъ. Но Гильоме, какъ

былъ совѣстливѣе другихъ, отозвалъ Ивана въ сторону и признался:

— Увлеклись мы очень. Джонъ Джемсовичъ ему опіумъ дать забылъ, а тутъ его съ моря-окіяна вѣтеркомъ пообдуло,—онъ и заворочался. Почуялъ, что мы его индѣ расцарапали,—да какъ засвищетъ, застонетъ, завопитъ... Мы было его унимать. Малайка Фукушима,—знаешь, Джонъ-Буллевъ казачекъ, что себя подъ барченка строитъ, бѣдовый парень! — здорово ему по зубамъ прошелся. Инда Змѣй даже притихъ было. . А потомъ собрался съ духомъ и пошелъ крушить.

Покачалъ Иванъ головою:

— Ахъ вы, черти-черти!

А господа надсѣдаются, крикомъ кричатъ:

— Безпремѣнно Змѣя теперь убить надо. Взбѣсился Змѣй: всѣхъ насъ, по необразованію своему, слопаетъ. Убить—и шкуру промежь себя подѣлить.

— Нѣтъ,—сказалъ Иванъ,—это вы, господа-помѣщики, не ладно затѣяли. Не резонъ Змѣя убивать. Первое дѣло: не онъ виноватъ, что взбѣсился,—мы его взбѣсили. Второе дѣло: какое вы имѣете право на его шкуру? А третье и главное—кто же его, махину этакую, убивать-то пойдетъ?

— Какъ — кто?—хоромъ закричали господа-помѣщики,—конечно, ты, Иванъ! Кому же еще? Это твоя святая обязанность.

Иванъ даже ротъ разинулъ:

— Я?—говоритъ.

— Непремѣнно ты. Мы, пожалуй, всѣ тебѣ поможемъ,—только сзади, издали; а тебѣ, какъ младшему питомцу цивилизаціи, надлежитъ впереди всѣхъ, во имя ея, на Змѣя итти и на рогатину его принять.

— Нѣтъ, ужъ увольте,—отвѣчалъ Иванъ,—больно не въ охоту мнѣ драться со Змѣемъ! И въ правѣ-то онъ своемъ правъ, и здоровъ-онъ непомѣрно,—вѣдь, возясь съ нимъ, идоломъ, животъ надорвешь.

— Да вѣдь *твой* Змѣй-то,—кричатъ господа,—*твой*, или нѣтъ? Вѣдь подъ *твоею* опекою онъ жизнь то свою влачилъ! Вѣдь *ты* его благополучіе прозѣвалъ и взбѣситься его допустилъ! Вѣдь за все, что онъ набѣдокуритъ, *тебѣ* отвѣчать придется. *Твой* Змѣй, *тебѣ* его и убивать.

Озлился Иванъ.

— Чего вы мнѣ тычете «твой» да «твой»? Откуда онъ моимъ сталъ? Ничей Змѣй—свой, да Божій. А что пріятели мы, это вѣрно.

На это ему говорятъ съ язвительностью:

— Ха-ха-ха! То-то сосѣдъ-пріятель твой,—отъ большой дружбы, должно быть,—весь твой заборъ по доскѣ расшвырялъ.

Бросился Иванъ къ забору: точно, исщепилъ его Змѣй хвостищемъ, по пескамъ мечучись. Взяла Ивана досада: долго и прочно онъ тотъ заборъ городилъ!—и принялся онъ Змѣя ругать:

— Что же ты, Горыничъ, въ самомъ дѣлѣ, озорничаешь? То дорожку мою испортилъ—теперь заборъ разнесъ. За что? Если и обидѣлъ тебя кто, я тому не причиненъ: я твоей чешуи не дралъ... только метелкою обмахивалъ...

А Змѣй реветъ:

— Ой, батюшки! ой, матушки! смертушка моя приходитъ! Гдѣ ужъ мнѣ разбирать, кто дралъ, кто не дралъ... Отъ боли свѣту не вижу. Всѣ вы—черти! Всѣ—дьяволы! Кто ни попадется подъ лапу, такъ и раздавлю. Ой, батюшки! Ой, матушки!

И бухъ, бухъ хвостищемъ по гумну мужикову: только его и видѣли!

— Видишь,—говорятъ одни господа-помѣщики,—какъ Змѣй жестоко взбѣсился: и знать тебя не хочетъ. Напротивъ, тебѣ достанется пуще насъ всѣхъ.

— Еще бы!—говорятъ другіе,—земли у Змѣя хотя и много, но аккуратъ, чтобы на брюхѣ спокойно лежать. А, что онъ ни метнется, все придетъ ударомъ по сосѣдской

землѣ: потому—у себя дома податься ему некуда, толстъ очень.

И хоромъ всѣ кричатъ:

— Бери рогатину, Иванъ,—безпремѣнно тебѣ Змѣя пришибить надо! Не то онъ тебя въ разоръ разоритъ.

Долго упирался Иванъ, но—какъ прибѣжала къ нему его баба, да завыла на голосъ, что Горыничъ, подавшись туловомъ, смялъ у нихъ озимь и цѣлое стадо съ ихняго выгона, какъ метлою, счистилъ, — разгорѣлось въ немъ хозяйское сердце. Взялъ съ телѣги желѣзныя вилы-тройчатки и пошелъ на Змѣя. А тотъ знай катается, какъ умалишенный, по лугамъ-полямъ, да причитаетъ:

— Ой, батюшки, ой матушки! Гдѣ-жъ это лиходѣи-то мои попрятались? Такъ бы я вотъ всѣхъ ихъ зубомъ и переѣлъ.

Сталъ супротивъ него мужикъ Иванъ, поклонъ отдалъ, вилы съ плеча снялъ и заговорилъ истово:

— Ну, сосѣдъ Горыничъ, хоть и не твоя вина, что ты взбѣсился, а съ бѣшенымъ въ сосѣдяхъ мнѣ, мужику, не житье. Видно, таланъ твой таковъ. Было время, мы съ тобою дружили, а нонѣ—выходитъ— драться станемъ... ну-ка, выходи-ка—кто кого?

1900.

Сказка о томъ, какъ лѣшій съ лѣшимъ воевалъ, и что изъ того вышло.

Жили-были два лѣшихъ. Лѣшіе, какъ лѣшіе—по общеустановленному образцу, самые обыкновенные. Одного звали Чудище Облòмъ, другого Чудище Обло. Только и было между ними разницы. Оба большіе, сильные и оба необразованные. Еще Обломъ какъ будто и видѣлъ кое-какой свѣтъ въ окошкѣ, потому что—до настоящаго своего лѣшаго званія—лѣтъ полтораста у нѣмецкаго чорта Мефистофеля въ разсыльныхъ состоялъ, такъ маленько понахватался полированнаго обращенія. Чудище же Обло, будучи лѣшимъ сызмальства, — лишь въ самой ранней юности послужилъ онъ малую толику въ конюхахъ у манчжурскаго Шайтана, да и то былъ немедленно выгнанъ за неспособность, — былъ совсѣмъ дикій лѣшій. Обломъ, служа при Мефистофелѣ,—какъ много приходилось по городу Петербургу письма носить и, дорогою, трактирныя вывѣски созерцать,—даже грамотѣ по нимъ выучился. И теперь, по большимъ праздникамъ, надѣвъ синій кафтанъ, по штату лѣшимъ полагающійся, онъ садился на самый чистый въ лѣсу своемъ пень и читалъ книгу—«Битву русскихъ съ кабардинцами или Прекрасную Магометанку, умирающую на гробѣ своего супруга». За полтораста лѣтъ три страницы прочиталъ, а на четвер-

тую заглянуть, хотя и весьма любопытствовалъ, однако не рѣшался. Ибо опасался быть заподозрѣннымъ въ вольномысліи и превратныхъ идеяхъ, а ихъ, будучи лѣшимъ благонадежнымъ и смиренномудреннымъ, трепеталъ паче огня. Тѣмъ болѣе, что г. Грингмутъ, коего къ тому времени начальство,—не зная, какъ его въ возмездіе заслугъ превозвысить,—сдѣлало наконецъ инспекторомъ лѣшаго поведенія во всѣхъ дебряхъ и вертепахъ Россіи, не однажды уже, при встрѣчахъ съ Обломомъ, грозилъ ему указательнымъ перстомъ, выразительно приговаривая:

— Смотри у меня... читатель!

При чемъ у Облома душа уходила въ пятки. И, бросая дерзновенныя мечты о тайнахъ четвертой страницы, онъ поспѣшно возвращался «на первое» и читалъ сызнова, начиная съ заглавія:

— Бит-ва рус-скихъ... съ... како-азъ-ка, буки-азъ-ба, каба... съ кабатчиками... Анъ вотъ и врешь: съ кабардинцами... Печатать разрѣшается!.. ишь ты! разрѣшается!.. съ тѣмъ, чтобы... Ну, еще бы тебѣ безъ того, чтобы!.. цензоръ Сатаніилъ Свѣтуневзвидѣнскій... со звукомъ баринъ! дѣйствительный статскій совѣтникъ, надо полагать!.. Одобрено для народнаго чтенія...

Тутъ онъ утиралъ слезу и, всхлипнувъ, говорилъ:

— Благодѣтели! Одобрено,—слово-то какое! А еще лиходѣи наши говорятъ, будто начальство о лѣшемъ образованіи не печется!

И, въ знакъ своего полнаго восторга и культурности, затягивалъ, во всю пасть почерпнутый изъ «Кабардинцевъ» гимнъ:

Аллага! Аллагу!
Слава намъ! Смерть врагу!

Господинъ же Грингмутъ, слыша, какъ отъ Обломова вокальнаго усердія даже лѣсъ трещитъ, улыбался и говорилъ домочадцамъ своимъ:

— Какая, однако, у него твердость убѣжденій и

сколько благородства чувствъ. Вотъ, какъ extemporalia воротятъ, да на счетъ отмѣтокъ шатанія укротятся, непремѣнно я лѣшаго Облома въ директора гимназіи проведу...

Чудище Обло книжекъ не читалъ, ибо на манчжурской конюшнѣ—одна грамота: въ зубы. Но характера былъ веселаго и мирнаго; досуги же свои,—правду сказать, не великіе,—проводилъ обычнымъ лѣшимъ порядкомъ: сидѣлъ въ полѣ, свисталъ, пѣлъ и въ своей дурацкой долѣ ничего знать не хотѣлъ. Съ Обломомъ былъ большой пріятель. Сойдутся, бывало, на опушкахъ своихъ лѣсовъ, сядутъ на пеньки, да и переговариваются черезъ рѣчку: широкая рѣчка между лѣсами текла. Чудище Обло, какъ книжекъ не читалъ и у Мефистофеля не служилъ, раздвоеніемъ духа не страдалъ и былъ цѣльный натуръ-философъ. Обломъ же, хотя отъ натуръ-философіи тоже недалеко ушелъ, однако, начитавшись «Кабардинцевъ», уже отравился нѣсколько ядомъ сентиментализма и потому, глядя на Чудище Обло, неоднократно вздыхалъ:

— Смотрю я на тебя, другъ любезный, — жалости ты достоинъ: хоть бы ты обликъ-то свой малость облагообразилъ. . А то—на что похоже? Одна у тебя ноздря, а спины нѣтъ!

— Это ужъ природа такая, — возражалъ Чудище Обло.—Кому что дадено. Супротивъ природы не попрешь. Вотъ у тебя спина есть, за то ноздри нѣту. Тоже оно не очень-то приглядно.

— Ноздря—что!—говорилъ Обломъ.—Была ноздря, да ее мнѣ, признаться, того... по произволенію еще его свѣтлости, въ Бозѣ почившаго герцога курляндскаго, Іоганна Эрнста фонъ-Бирона административнымъ порядкомъ выдрали. Какъ же! Въ то время верховникамъ конституціевъ нутромъ захотѣлось. Вынь да положь! ажъ въ колдовство ударились и чорта призывать стали: Сапіэль! помоги! Ну, а баринъ мой, Мефистофелевъ господинъ, какъ чинъ на нихъ высокій, безпокоить себя не пожелали: стану,

говорятъ, я являться всякой русской свиньѣ,—они, небось, и разговаривать-то со мною не сумѣютъ, потому—только и знаютъ по нѣмецки, что «фельдфебель», да «шпицрутенъ»! Послать къ нимъ Облошку-дурака, пусть явится. Ну, я и явился,—да прямо на Андрея Федоровича Ушакова и угодилъ... Позвольте, говоритъ, по какому случаю?!.. Я туда-сюда... Извините-молъ, я вовсе не на счетъ конституціевъ. Я просто такъ, вольнопроходящая сатана.—Сатана? Очень прекрасно. Взять его подъ сумлѣніе!.. Взяли... Ну, тутъ ноздря-свѣтъ моя и ау!

— Скучно безъ ноздри,—вздыхалъ Обло,—и табаку не понюхаешь. И въ носки играть нельзя: проиграешь,—во что щелчки принимать? За шулера почтутъ. Не игра, а одно покушеніе съ негодными средствами!

— Зато экономія. Опять же не наше дѣло разсуждать, какъ лучше,—съ ноздрею или безъ ноздри. Начальству-то оно, братъ, виднѣе. Кабы нужна мнѣ была ноздря, такъ, небось, оно бы ея драть не стало. А заблагоусмотрѣло, обсуждая меня: всѣмъ бы сатана, какъ сатана,—только вотъ ноздря у него вольтеріанская!—ну, и зло съ корнемъ вонъ... Да! Такъ вотъ и выходитъ, понимаешь ли: что ноздри-то у меня нѣтъ,—оно даже почтенно: въ родѣ какъ бы патентъ на благоповеденіе знаменуетъ. Съ рваными-то ноздрями тебѣ на биржѣ почетъ: сразу въ квадратъ тебя ставятъ, за своего принимаютъ. А вотъ безспиніе твое—оно, братъ, того... подъ вопросомъ еще .. Надо тебя за недоимку выпороть,—гдѣ спина? Анъ, нѣту спины: пороть-то и не по чемъ. И выходишь ты закону супротивникъ, начальство втупикъ ставишь, законодательные пути изыскивать заставляешь: ежели нѣтъ спины, — по чемъ же тебя теперича драть?

— Начальство найдетъ, — убѣжденно возражалъ Обло.—У насъ, за рѣкою, Обломъ Ивановичъ, по спинамъ-то не только нашего брата лѣшаго, но и людей не бьютъ: все больше по пяткамъ бамбукомъ.

— Ну, развѣ что по пяткамъ!

Такіе разговоры вели они, оглядываясь, ибо почитали ихъ политическими.

— Языкъ-то безъ костей, говорилъ Обломъ—брякнешь словцо объ ину пору,—глядь-поглядь, анъ, за кустомъ-то господинъ Плутикъ-Плутевскій сидитъ и для декорацій театральныхъ художественные мотивы съ натуры выбираетъ... вотъ тебѣ, фрондеръ, и фронда! что пріятнаго?

Посему, ходя другъ другу въ гости, лѣшіе больше пили водку, разсказывали пикантные анекдоты про кикиморъ и русалокъ, а когда собирались большою компаніей, то играли въ подкаретную. Но такъ какъ возможности дуть другъ друга по носамъ, за безноздріемъ своимъ, были лишены, а денегъ не имѣли, ибо сосѣдніе лѣшіе, болѣе богатые, взаймы давали слабо: пропьете,—ищи съ васъ, каторжныхъ!—то играли на ввѣреннаго ихъ попеченію пушного звѣря.

— Иду,—кричитъ Обломъ,—угломъ отъ ста медвѣдей! Транспортъ съ кушемъ отъ соболя и чернобурой лисицы!

И какъ выкрикнетъ онъ этакое и для крѣпости кулакомъ по пню хватитъ, всегда Карлушка Тролль, лѣшій изъ недальней рощи, принадлежавшей аптекарю Генриху Ивановичу фонъ-Гебуртстагъ, ужасно разгорячится, подпрыгнетъ и тоже въ азартъ войдетъ:

— Держу одну полевую мышь мазу!

Жестоко рѣзались. Однажды Чудище Обло чудищу Облому десять тысячъ зайцевъ проигралъ. Забралъ Обломъ зайцевъ къ себѣ за рѣку: живите, плодитесь, множитесь! И жили зайцы, никого не обижая и никѣмъ не обидимые и чувствовали себя превосходно, гораздо лучше, чѣмъ на родинѣ, ибо, правду сказать, Чудище Обло, хоть и не золъ, а былъ-таки дураковатъ немного. Коли въ духѣ,—ничего; а коли въ сердцахъ,—никакой звѣрь не попадайся ему подъ руку: заяцъ ли, медвѣдь ли, лиса

ли,—никому не уважитъ, всякаго такъ пополамъ ни за что, ни про что и раздеретъ.

Съ большого ли проигрыша, съ другихъ ли причинъ закутилъ-задурилъ Чудище-Обло въ лѣсу своемъ, да такъ—что житья отъ него никому не стало. Лѣшачиху свою прибилъ, русалокъ-лисунокъ по трущобамъ разогналъ, лѣшуковъ—кого въ дупло, кого въ болото втопталъ,—со звѣрей прямо живьемъ кожу деретъ. Терпѣли-терпѣли звѣри, мочи не стало,—пошли кланяться Облому:

— Сдѣлай милость! вступись въ нашу бѣду! образумь благопріятеля! Вѣдь намъ отъ него конечная погибель приходитъ.

Посмотрѣлъ Обломъ: точно, звѣри предъ нимъ куда какъ не въ аккуратѣ стоятъ: у кого полъ-бока выдрано, у кого хвоста нѣтъ, у кого око перстомъ выткнуто, у кого лапа переломлена.

— Ишь,—говоритъ лѣшій Обломъ,—идолъ этакій! какъ онъ васъ! Да за что же?

А тѣ хоромъ:

— По необразованію своему. Защити насъ, потому что на тебя одного наша надежда. Ибо онъ дикарь и мужикъ, а ты лѣшій интеллигентный, въ Петербургѣ жилъ, у нѣмца служилъ и долженъ поступать по образованному.

Уговорили звѣри Облома вступиться за нихъ. Сошлись Чудище Обломъ съ Чудищемъ Обломъ, стали гуторить, погуторивши, поспорили, поспоривши, повздорили, поздоривши, передрались, и изрядно другъ другу бока наломали.

— Я те покажу, какъ въ чужое дѣло со своимъ носомъ лѣзть! кричитъ Чудище Обло. А Обломъ въ отвѣтъ:

— Рожу те растворожу, щеку на щеку помножу, зубы въ дроби превращу, а ужъ узнаешь ты у меня, что значитъ гуманное обращеніе, и какъ долженъ вести себя въ своемъ лѣсу порядочный и благовоспитанный лѣшій.

И положили они между собою—воевать, пока хва-

титъ силы-возможности, потому—оба почитали себя правыми.

Воюютъ.

Чудище Обло воюетъ на старый манеръ, по просту,—звѣрски, безъ жалости: попадется ему кто-либо изъ Обломовыхъ родныхъ, друзей, либо свойственниковъ, онъ тому сейчасъ ноги, руки повывернетъ, либо голову оторветъ. А Чудище Обломъ воевать-то воюетъ, а самъ въ душѣ все сомнѣвается: какъ бы ему образованія не нарушить и черезъ гуманность не перескочить? Ибо слыхивалъ онъ, въ Питерѣ живучи, что была на свѣтѣ не только такая женевская конвенція, которая учила, въ какомъ порядкѣ истинно доблестные воины имѣютъ право и обязанность другъ друга живота лишать, но и гаагская конференція, которая требовала, чтобы войны вовсе не было. И, хотя сіе послѣднее требованіе считалъ онъ, по лѣшему своему скептицизму, не болѣе, какъ золотою утопіей, однако и самъ не прочь былъ помечтать, сидючи на пенькѣ:

— А хорошо бы, чортъ побери, такъ воевать, чтобы не убить никого, и самому убиту не быть, а между тѣмъ всѣхъ враговъ побѣдить и подъ нози покорить, и у всѣхъ бы руки-ноги были цѣлы!

И, когда его подчиненные лѣшуки, медвѣди и прочіе ратные звѣри шли драться съ лѣшуками, медвѣдями и прочими ратными звѣрями Чудища Обла, лѣшій Обломъ объ одномъ только и просилъ:

— Ребятушки, полегче. Главное, чтобы вы какъ-нибудь непріятелю не повредили. Оскандалите мою головушку на всю вселенную,—ау, моя цивилизація! Всѣ станутъ варваромъ звать. А видитъ Богъ: я даже съ госпожею Суттнеръ въ интимной перепискѣ состою и оправданію Дрейфуса апплодировалъ... вотъ я какой, хоть и Обломъ!

Вотъ сидитъ онъ, однажды, на пенькѣ, за рѣчку смотритъ, и, отъ нечегости дѣлать, съ гостемъ домовымъ, Ольдъ-

Никомъ изъ Лондона, въ пикетъ перекидывается. И говоритъ ему Ольдъ-Никъ:

— Удивляюсь я на васъ, ваше степенство. Лѣшій вы, какъ будто и умный, а легкомыслія въ васъ—хоть пруды имъ пруди. Ведете вы этакую серьезную войну, а измѣны не боитесь.

— А кто измѣнять-то будетъ?—отвѣчаетъ лѣшій Обломъ,—развѣ что ты шкуру на изнанку вывернешь, а то некому. Да и не мое это дѣло измѣны уловлять. Коли примѣтилъ какую, возьми, да въ «Московскія Вѣдомости» корреспонденцію напиши: тамъ съ благодарностію напечатаютъ, еще и гонораръ заплатятъ.

— Напрасно вы такъ довѣрчивы,—говоритъ домовой.—Думаете, что некому вамъ измѣнить? А что вы скажете на счетъ праздно и безчисленно проживающихъ въ лѣсу вашемъ, прирожденныхъ Обловыхъ зайцевъ?

Почесалъ въ затылкѣ лѣшій Обломъ.

— Заяцъ... да что же онъ можетъ? Самая нестоющая тварь... Лягушки—и той боится. Какая ужъ отъ него измѣна! Мелочь одна!

— Помилуйте, Обломъ Ивановичъ! Въ военное время мелочей не бываетъ: все надо въ расчетъ принимать. А—что заяцъ можетъ, такъ я вамъ доложу, что эта прехитрая бестія, только притворяется, будто трусъ. Да и трусъ, знаете, коли массою навалится—такъ отъ него того-съ, запищишь. При томъ же плутъ—заяцъ. Не даромъ по огородамъ воруетъ, да капусту жрётъ. Зазѣвайтесь только,—онъ вамъ телеграфъ и устроитъ.

— Какой тамъ еще телеграфъ?

— Очень просто какой: станетъ на пенекъ столбикомъ, да и будетъ черезъ рѣчку лапками махать, сигналы подавать. А то вѣдь есть изъ зайцевъ этихъ и такіе ученые пройды, что изъ пушекъ палятъ и въ барабанъ тревогу бить умѣютъ...

Задумался лѣшій.

— Пожалуй, что и правду ты врешь. Только, хоть убей ты меня, а я въ толкъ не возьму: для какого бѣса они мнѣ измѣнять станутъ, коли у меня имъ жить хорошо? Вѣдь Обло-то живьемъ ихъ ѣлъ, хвосты вмѣстѣ съ рѣпицею изъ мяса выхватывалъ...

— А забыли вы,—говоритъ домовой,—какимъ способомъ вы ихъ пріобрѣли? Въ носки выиграли. Goddam! Можетъ-ли свободолюбивый звѣрь любить лѣшаго, который его въ подкаретной игрѣ, взамѣнъ щелчковъ по носу, пріобрѣлъ? Разумѣется, нѣтъ. Вы заячій націонализмъ въ расчетъ примите, оскорбленіе патріотическое...

Опять зачесался лѣшій Обломъ. Податливъ онъ былъ на психологію, даромъ что называлъ ее палкою о двухъ концахъ; душу почиталъ и душевныхъ мотивовъ страсть какъ опасался.

— Гм...—говоритъ,—вѣрно вѣдь это, справедливыя твои слова: не за что имъ любить меня, не за что. Всегда я говорилъ, что не слѣдуетъ на живую тварь въ карты играть... вотъ и наказанъ!.. Продадутъ анаѳемы!.. Что же мнѣ теперь съ ними, подлецами, дѣлать?

Проводилъ лѣшій гостя и остался на пенькѣ раздумывать, какъ бы ему такъ устроить, чтобы измѣны не было. А зайцы, какъ нарочно, прыгаютъ кругомъ, веселые такіе, сѣрые... «Съ побѣдою и одолѣніемъ,—пищатъ,—дяденька, васъ честь имѣемъ!»... Ну, какъ ты ихъ душить станешь? Тоже Божья тварь. Жалко.

Зайца жалко и измѣны боязно. Робокъ сталъ лѣшій Обломъ. Чуть примѣтитъ, что заяцъ столбикомъ сталъ и рыльце себѣ умываетъ, такъ его сейчасъ въ сердце и кольнетъ:

— А вѣдь непремѣнно эта бестія телеграфическими знаками Облу за рѣку передаетъ, что у нашего, дескать, Облома сегодня недостача по части мѣновыхъ цѣнностей!

И вотъ, какъ мучился Обломъ такими сомнѣніями не день, не два, а много дней, вдругъ и осѣнила его идея:

— А за коимъ дѣломъ я ихъ, зайцевъ, держу у себя въ лѣсу? Отпущу-ка я ихъ всѣхъ назадъ домой, къ Облу. Пусть тамъ какія хотятъ измѣны разводятъ, — только бы мнѣ изъ-за нихъ рукъ не кровянить и гуманности не нарушить!

И приказалъ онъ зайцамъ, сколько ни было ихъ въ лѣсу, собраться на берегу рѣки и, когда набѣжало ихъ видимо-невидимо, велѣлъ ихъ оцѣпить стражѣ изъ отборныхъ медвѣдей, а самъ держалъ къ нимъ такую рѣчь.

— Жаль мнѣ, васъ, косые, а приходится разставаться, дѣлать нечего. Милую васъ: даю вамъ свободный путь черезъ рѣку. Счастливой дороги! не поминайте лихомъ! Но, ежели кто изъ васъ останется, предупреждаю: тотъ уже милости не жди,—задерутъ его мишуки въ лучшемъ видѣ. Ибо такой упрямецъ, конечно, уже есть несомнѣнный злоумышленникъ и, ежели остаться упорствуетъ, такъ не иначе, какъ въ тѣхъ цѣляхъ, чтобы меня коварствомъ чудищу Облу продать.

Зайчики отвѣчаютъ:

— Хотя измѣны въ мысляхъ не имѣли, однако—на добромъ словѣ спасибо! Вѣкъ не забудемъ твоихъ милостей, что живыми отпустилъ.

— Такъ вотъ, друзья мои, —говоритъ лѣшій, — и переправляйтесь черезъ рѣчку съ Богомъ по маленьку, начать въ часъ святой... что мѣшкать-то? А вы, мишуки, строго смотрите, чтобы, храни Господь, какой заяцъ по сю сторону не застрялъ! Шкуру сдеру, если хоть одного упустите!

— Слушаемъ, ваше степенство!—гаркаютъ мишуки— и къ зайцамъ:

— Ну, вы, косая команда! пошевеливайтесь!

Подошли зайчики къ рѣчкѣ, пощупали лапками воду, запряли ушками и пищатъ къ Облому всѣмъ соборомъ:

— Ваше лѣсное степенство! А гдѣ же мостикъ-то, по которому намъ переходить?

Нахмурился Обломъ.

— Ну ужъ, косые! говоритъ, — столькихъ претензій я отъ васъ не ожидалъ. Вамъ—коли медъ, такъ подай и ложку. Мало, что я, дабы гуманныя и образованныя чувства свои ознаменовать, живыми васъ, цѣлыми и невредимыми, Облу назадъ отдаю,—хотите еще, чтобы я же для васъ мосты наводилъ! Не жирно ли будетъ? Нечего лѣниться,—переплывете рѣчку и своими четырьмя лапами.

Повернулся и прочь пошелъ. Зайцы вслѣдъ ему не своими голосами кричатъ:

— Ваше лѣшее степенство! да вѣдь въ рѣкѣ-то, старики сказываютъ, глубины—четыре аршина!

А мишуки цѣпь-то посжали и рявкаютъ, кто во что гораздъ:

— Circulez, circulez, messieurs! Честью вамъ говорятъ: не задерживайте!..

Сидитъ лѣшій съ лѣшачихою на любимомъ болотѣ своемъ и радъ:

— Хорошо, говоритъ, у меня на душѣ, Марья Потаповна. Доброе я нынче дѣло сдѣлалъ. Всѣхъ зайцевъ на родину къ Облу отпустилъ. Знай нашу цивилизацію!

А лѣшачиха его по головѣ гладитъ и приговариваетъ:

— Ужъ ты у меня!

Свистнулъ лѣшій богатырскимъ посвистомъ, и—откуда не взялся, выросъ предъ нимъ, какъ листъ передъ травою, дежурный мишукъ.

— Ну, что, братецъ, — спрашиваетъ Обломъ,—все благополучно?

— Такъ тошно, ваше степенство.

— Сбыли косыхъ?

— Такъ тошно, ваше степенство.

— Поплыли?

— Такъ тошно, ваше степенство.

— Доплыли?

— Никакъ нѣтъ, ваше степенство.

— Какъ «никакъ нѣтъ»? что ты врешь, дуракъ? Гдѣ же они?!

— Потому какъ, стало быть—всѣ потонумши, ваше степенство.

— Какъ потонумши? какъ всѣ? зачѣмъ? почему?

— Потому какъ, ваше степенство, звѣрь глупый: плавать не учёмши. Со стыда, стало быть, потонули за дикое свое необразованіе.

Схватился тутъ бѣдняга лѣшій за голову и завылъ отъ горя на голосъ:

— Вотъ-те и гуманность! вотъ-те и цивилизація! Ахъ вы зайчики мои, бѣдные зайчики! Все я для васъ хорошо надумалъ,—объ одномъ,—что заяцъ плавать не гораздъ,—позабылъ! Телятина я, телятина!

А каналья Ольдъ Никъ изъ-за куста на него глядитъ, да ехидно подкалдыкиваетъ:

— Какое варварство! какое лицемѣріе! Безпремѣнно я объ этакомъ пассажѣ долженъ въ газету «Times» корреспонденцію настрочить...

Долго вылъ лѣшій,—инда лѣшачихѣ его жаль стало. А утѣшить чѣмъ не знаетъ.—А лѣшій такъ и мечется:

— Ой, какъ мнѣ сердце свое усмирить? Ой, какъ мнѣ грѣхъ мой невольный искупить? Ой, да научите же меня, добрые люди, какъ бы мнѣ такъ воевать, чтобы ни покойниковъ, ни несчастныхъ не было, ни смертей, ни грѣха на душу свою не принимать?

Говоритъ ему лѣшачиха:

— Пустого ты просишь. Покуда есть война, потуда есть и грѣхъ, и смерть, и мертвецы, и всѣ зла и несчастія. Нельзя безъ того воевать, чтобы рукъ не окровавить и души не осквернить. И сколько ты этикъ не напиши,—все равно, отъ крови не уйдешь, а только еще тяжеле ее на душу свою примешь.

И еще горше заплакалъ лѣшій Обломъ:

— Что же мнѣ, горемычному, въ такомъ разѣ дѣлать-то?—научи! Ибо, точно, вижу я: безъ убійства воевать нельзя, а съ убійствомъ—совѣсть всю душу выѣстъ...

А лѣшачиха ему простымъ бабьимъ разумомъ и говоритъ:

— Да не воюй, дурашка, вовсе. Очень просто!

1900.

Сказка

о здравомыслеющомъ медвѣдѣ и его недоумѣніяхъ.

Жилъ въ нѣкоторомъ лѣсу Медвѣдь. Былъ бурый. Имѣлъ берлогу, медвѣдицу, медвѣжатъ, коихъ и питалъ, и ютилъ по мѣрѣ силъ своихъ. Кровожадностью не отличался. Настолько, что, хотя ученые числятъ медвѣдя животнымъ плотояднымъ, однако этотъ Медвѣдь мясо кушалъ всего два раза въ году: на Свѣтлый праздникъ, да на Рождество Христово. Въ остальное же время пробавлялъ себя полевыми злаками и добро-полезною лѣсною ягодою, какъ-то: моропкою, брусникою, черникою, костяникою,—ибо другіе фрукты, болѣе деликатные и питательные, въ лѣсу не росли. Когда же на морошку и на полевые злаки, въ томъ числѣ и на лебеду, бывалъ недородъ, Медвѣдь, по добродушію своему, съ готовностью грызъ кору съ молодыхъ сосенъ и даже не отказывался набивать свой желудокъ жирною глиною. Послѣ чего, однако, шибко маялся животомъ и, катаясь по землѣ въ корчахъ, ревѣлъ источнымъ голосомъ. Такъ что даже отдаленнѣйшіе звѣри лѣса тогда знали, въ чемъ дѣло, и говорили между собою:

— Медвѣдь пообѣдалъ.

А Воронъ съ сука каркалъ, посъ чится:

— Пиршествуетъ!

И сейчасъ же, бывало, обдумаетъ про себя умною головою:

— А не слетать ли къ медвѣдевой берлогѣ—глазкомъ взглянуть: пожалуй, гурманъ-то нашъ, съ большой сытости, уже подъ сосною вверхъ лапами лежитъ, зубы ощеря, и языкъ вывѣсилъ. Потому что, по осени, докторъ Аистъ-птица за вѣрное сказывалъ: на корѣ, да на глинѣ зимы Медвѣдю не выдержать,—наука не позволяетъ.

И летѣлъ Воронъ, остря крѣпкій клювъ на чаемое медвѣжье падло, но, прилетѣвъ, только крыльями отъ недоумѣнія всплескивалъ: живъ Медвѣдь! отощалъ, инда облика на немъ медвѣжьяго не осталось, одна скелетина, а живъ—хоть пощупай, живъ! Даже серчать на него сталъ Воронъ и выговоры ему выговаривать:

— Какъ же это ты, братецъ, не по закону природы живешь, науку въ конфузъ вводишь? Никакого въ тебѣ обмѣна веществъ нѣтъ, а ты существуешь. Нехорошо. Умри. Нельзя порядочному звѣрю безъ обмѣна веществъ жить,—лѣсъ собою срамишь. Умри, пожалуйста.

А Медвѣдь отъ голода гласъ потерялъ—только натужится-сипитъ:

— Я, ваше высокоблагородіе, приноровившись.

И до того Медвѣдь въ приноровленіи своемъ дошелъ, что въ иныя зимы, когда и кора со всѣхъ молодыхъ елокъ и сосенокъ была обглодана, и жирная глина твердѣла, какъ гранитъ, промерзая подъ глубокими снѣжными сугробами, онъ даже вовсе упразднялъ обмѣнъ веществъ, а, перекрестясь, ложился въ берлогу и, заткнувъ себѣ дыханіе лапою, сосалъ оную, покуда не засыпалъ. Во снѣ же видѣлъ, будто ѣстъ убоину, заѣдаетъ медомъ, и оттого становился веселъ и сытъ. И одного только не любилъ Медвѣдь: чтобы его въ это время въ берлогѣ тревожили. Смиренъ-смиренъ, а въ этакомъ разѣ подъ лапу ему не подвернись,—такъ пополамъ и перерветъ. На что ужъ начальство: всегда къ нему Медвѣдь почтеніе и трепетъ хранилъ

*

и даже имѣлъ пятерку за поведеніе въ аттестатѣ зрѣлости, который нѣкогда получилъ изъ Сморгонской академіи медвѣжьихъ танцевъ. Но если лѣсной объѣздчикъ будилъ Медвѣдя отъ голодной спячки, требуя звѣриныя подати и недоимки, то Медвѣдь даже и объѣздчику показывалъ клыки, а то не прочь былъ и оборвать полу объѣздчикова тулупа. Ибо, несмотря на вѣчную голодовку, силу свою Медвѣдь сохранялъ. И было это столь необыкновенно и вопреки законамъ естества, что многіе антрепренеры, даже изъ Америки, предлагали ему выгодные ангажементы показываться въ качествѣ голодающаго феномена; итальянецъ же Сукки прислалъ Медвѣдю вызовъ на состязаніе сорокадневнымъ постомъ. Но Медвѣдь, какъ былъ скроменъ и здравомысленъ, на прельщенія славы не поддавался и, отмахиваясь лапою, говорилъ:

— Гдѣ намъ! У насъ желудки простецкіе... по иностранному не горазды... Голодать же мнѣ и дома преспособно, и никтошеньки мнѣ, Медвѣдю, въ томъ не воспрепятствуетъ.

Ибо права свои Медвѣдь зналъ твердо.

Итальянцу же Сукки, на дерзкій вызовъ его, здравомысленный Медвѣдь просто послалъ въ отвѣтъ календарь г. Суворина, отмѣтивъ краснымъ карандашомъ дни, въ которые онъ, Медвѣдь, воздерживался отъ пищи, какъ по зависящимъ, такъ и по независящимъ отъ него обстоятельствамъ. И, какъ увидалъ итальянецъ Сукки пестроту красныхъ помѣтокъ, то болѣе къ Медвѣдю съ горделивыми вызовами не приставалъ

Когда наступала весна, Медвѣдь сбрасывалъ съ себя зимнюю спячку и вылѣзалъ изъ берлоги.

— Живъ?—кричалъ ему съ березы Воронъ.

Медвѣдь нерѣшительно ощупывалъ себя и отвѣчалъ:

— Кажись, живъ.

— Ахъ, провалъ тебя возьми, двужильнаго! Стало быть, выдержалъ?

— Эка невидаль!

— Существуешь?

— Существую.

— Ну, существуй. А я, на березѣ сидючи, посмотрю-полюбуюсь, какъ ты теперь станешь жизнью жуировать.

Но и лѣтнее, сравнительно сытое, время Медвѣдь проводилъ не столько въ радостяхъ, сколько въ мысляхъ. Ибо семья у него была огромная и заботная: всѣмъ бы удались медвѣжата, да талану-счастья Богъ имъ не далъ. Въ особенности же маялся Медвѣдь со снохами своими, которыхъ, какъ на бѣду, всѣ его медвѣжата взяли изъ чужихъ лѣсовъ. Старшій Мишукъ свою медвѣдицу съ Литвы привелъ, безприданницею за красоту взялъ, да за то, что лихо на горячей плитѣ мазурку танцовала. Изъ бѣдной и разоренной, хоть и родовитой, берлоги была и, сказываютъ, страхъ за Мишука замужъ не хотѣла,—силой привезъ ее въ родимый лѣсъ, и ужъ такъ-то ли въ немъ она не ко двору пришлась! Умная была! дрессированная! Родная-то семья ея въ католической парафіи жила, такъ она, въ дѣвицахъ, каждый вечеръ къ ксендзу Бѣлякевичу на духовный отчетъ ходила. Онъ ее сперва выслушаетъ, потомъ выпоретъ, а въ ней отъ всего того патріотизмъ растетъ. Медвѣжатъ своихъ обучила ворчать и рычать на польскій голосъ, а — чуть кто по-русски рыкнетъ, тому отъ родительницы сейчасъ же головомойка:

— Не реви москалемъ! не скули схизматикомъ!

А Мишукъ-супругъ, съ своей стороны, наоборотъ, польскаго рыку слышать не могъ. Потому-что въ ранней юности онъ имѣлъ несчастіе найти въ лѣсу старый нумеръ «Московскихъ Вѣдомостей», прочиталъ отъ доски до доски и съ тѣхъ поръ, ставъ въ ряды охранителей, всюду видѣлъ козни звѣрей-инородцевъ и крѣпко отстаивалъ отъ нихъ право русскихъ медвѣдей имѣть звѣрство собственное, національное и самобытное. И вотъ — мыкнетъ ему медвѣжонокъ, обмолвится:

— Тату, хцешь менса?

Такъ его всего и передернетъ, такъ и затрясетъ:

— Что-о-о? Это ты на какомъ собачьемъ языкѣ лопочешь?! Не можешь, мерзавецъ, правильно, какъ слѣдуетъ, выговорить: Тятенька, молъ, не прикажете ли, молъ, мясца-съ?

— Да намъ мама велѣла...

— Мама? А вотъ я тебѣ покажу маму!

Цопъ бѣднягу за уши,—и пойдетъ трепать. Треплетъ и приговариваетъ:

— Вотъ тебѣ менсо! вотъ тебѣ мама! вотъ тебѣ—порычи у меня по-польски, вотъ тебѣ до лясу! вотъ тебѣ ксендзъ! вотъ тебѣ парафія...

Понятно, медвѣжонокъ оретъ не своимъ голосомъ. Мать прибѣжитъ отнимать, тоже реветъ:

— Буйся Бога, пане недзвѣдзь! цо ты робишь? цо ты собе мыслешь? А! пфуй! Встыдзь се, пане! Что ты, убить ребенка хочешь? Кожу съ него содрать? А еще гуманностью хвалишься, образованнымъ медвѣдемъ себя почитаешь: в-де, да я-ста! такихъ, какъ я, культурныхъ медвѣдей и въ Европѣ нѣтъ! За что его бьешь? Развѣ каждый медвѣжонокъ не имѣетъ права любить свой родной лѣсъ и рычать по-родному?

— Сударыня!—гремѣлъ Мишукъ,—у васъ нѣтъ родного лѣса, кромѣ той общей великой пущи, въ которой имѣетъ честь быть расположенною наша берлога, и я покорнѣйше прошу васъ не уклоняться, въ цѣляхъ непозволительнаго сепаратизма, отъ рева и рыка по общеустановленному для всей пущи образцу. А польскаго реву я, какъ патріотъ и почитатель «Московскихъ Вѣдомостей», не попущу-съ, не попущу-съ и не попущу-съ!

— Тогда ты насильникъ, извергъ, деспотъ, азіатъ!

— Прошу не ругаться,—сто чертей тебѣ въ душу!—коли я говорю съ тобою вѣжливо. Берегись: договоришься до недобраго.

— Чего отъ тебя, косолапаго, добраго-то ждать? Сказано, что медвѣдь, —медвѣдь и есть! Вонъ, у меня сестры, одна въ цесарскую землю за карпатскаго медвѣдя выдадена, другая — за нѣмцемъ Атта-Троллемъ въ Познани. Таково ли ихъ житье, какъ мое, за тобою, дроволомомъ?

— Насчетъ нѣмца ты не смѣй меня корить! Знаемъ мы нѣмца! У самихъ насъ, русскихъ медвѣдей, Атта-Троллито эти вотъ гдѣ сидятъ. Нѣмецъ твою сестру такъ скрутилъ, что изъ нея масло каплетъ.

— А изъ меня сыворотка,—велика привилегія! Осчастливилъ!... Нѣтъ, вѣдь что задумалъ! Сына родного рыка лишить. Этакъ ты и мнѣ, пожалуй, запретишь о родинѣ вспоминать, по родному рычать и рыкомъ римскаго Великаго Медвѣдя славословить?

— И запрещу!—храбро отвѣчалъ медвѣдь. Но проворная литвинка, бойко сложивъ лапу въ дерзкій шишъ, подносила его къ носу Мишука и говорила:

— Нравственнаго права не имѣешь!

— Та, не имѣете равственный раво-то,—поддерживала ее вторая невѣстка, тоже инородка, умыкнутая среднимъ Мишукомъ изъ окрестностей города Або.

— Ныкакой нраустваенный право-мраво не имэишь, дюша мой!—вторила третья, которую младшій Мишукъ привезъ съ Арарата, влюбясь въ нее за горбатый носъ и черную масть.

— А вотъ я тѣ, змѣя, пропишу правственное право!—оралъ Мишукъ, а братья, которые хотя «Московскихъ Вѣдомостей» сами не читали, но слыхали о нихъ, какъ о газетѣ съ медвѣжьими вкусами, дружно поддерживали Мишука и тоже покрикивали на женъ:

— Молчать, чухонская морда!

— Не пикни, армянская образина!

— Деспотъ! тиранъ!! мучитель!!!

— Змѣя! измѣнница!!! крамольница!!!

— Варваръ!

— Предательница!!

— Сбѣгу отъ тебя! Разводъ подай! Отдѣльный видъ на жительство!

— Врешь! отъ мужа только въ гробъ,—и больше никуда.

И поднималась тутъ такая суматоха, буча, тамаша, столько вопу, крику, гаму, стону, слезъ, брани, жалобъ, проклятій, что даже въ сосѣднихъ лѣсахъ звѣри, заслышавъ эту грозную музыку, качали головами и говорили:

— Опять у медвѣдя въ берлогѣ безобразіе.

А старый медвѣдь сокрушался:

— Господи, стыда-то! сраму то! Да уйметесь ли вы хоть когда-нибудь, каторжные? Дѣти вы мои или нѣтъ? Всѣ братья, всѣ сестры, всѣ въ одной берлогѣ живете, а поладить не можете... словно бѣсноватые какіе! Того и жди, что уголовщина выйдетъ: перебьютъ другъ друга, либо что.

— Это вѣрно,—поддакивалъ Воронъ съ березы.—Гдѣ мужъ съ женою во взаимной ярости живутъ, тамъ завсегда трупьемъ пахнетъ. Я, братъ Медвѣдь, на твоихъ твердо уповаю: и когти, и клювъ наточилъ.

— Полно глупости-то врать,—огрызнулся Медвѣдь,—только и словъ у тебя: когти, да клювъ, да мертвое тѣло. Ты лучше мнѣ посовѣтуй, какъ въ семьѣ миръ возстановить? Сыновей поддерживать—нехорошо: въ лѣсу говоръ пойдетъ, что кулачнымъ расправамъ потворствую, а, я, братъ... того... къ общественному-то мнѣнію робокъ. Вѣдь, каковъ ни есть, все же не вовсе лыкомъ шитъ: въ шестидесятыхъ годахъ Сморгонскую академію первымъ кандидатомъ кончилъ... Это помнить надо!

— Что говорить!—каркнулъ Воронъ,—оно... обязываетъ!

— Сторону невѣстокъ взять? Скажутъ: старый дуракъ по бабьей дудкѣ пляшетъ, родныхъ сыновей въ обиду даетъ. Еще спохачомъ, пожалуй сочтутъ... Задача!

Думаю, думаю, ничего не могу придумать,—только каждый день по три драки разнимаю... утѣшеніе!

Были у Медвѣдя и холостые медвѣжата, и о нихъ тоже сомнѣвался и печалился старый Медвѣдь:

— Какъ вы, Мишеньки, жить-то будете?

— Мы, папенька,—Мишеньки говорятъ, — живемъ хорошо, а собираемся лучше.

— Ой ли? Ну, давай вамъ Богъ. Надежды-то маловато какъ бы. Щуплые вы у меня какіе-то.

— Нѣтъ,—говоритъ одинъ,—очень много надежды, папенька. Я, папенька, нашелъ, отчего мы, медвѣди, двѣ трети года подведя животъ ходимъ. Это, папенька, все по той причинѣ, что медвѣди особнякомъ живутъ. А вотъ, если бы мы, медвѣди, на брусничныя культуры общинное пользованіе распространили,—такъ народились бы у насъ медвѣжьи сытость и благополучіе...

— Пустяки!—перебиваетъ другой,—утопія! отжившій бредъ шестидесятыхъ годовъ! Не то совсѣмъ, папенька: общиннымъ брусникоѣденіемъ въ наше время многаго не возьмешь!—А устроимте-ка мы, папенька, съ вами фабрику, да пойдемъ-ка на фабрику работать, да вотъ какъ у насъ заработная-то плата въ лапахъ забренчитъ, станемъ мы съ вами медвѣдями зажиточными.

И закипалъ тутъ между медвѣжатами великій споръ.

Одинъ кричитъ:

— Община!

Другой:

— Фабрика!

Третій:

— Усовершенствованныя формы кредита!

Четвертый:

— Это, значитъ, чтобы съ насъ остатнюю шкуру содрать?

Пятый:

— Ничего! безъ шкуры вольготнѣе!

Старый же Медвѣдь слушаетъ, качаетъ башкою, вздыхаетъ, да думаетъ про себя:

— Худо ли, хорошо ли—Богъ васъ разберетъ. Только бы, за всѣми этими спорами, безъ дипломовъ вамъ отъ Сморгони не остаться. Охъ, худо нынѣ молодому медвѣдю безъ диплома! охъ, какъ худо...

— Эхъ, папенька,—медвѣжата говорятъ, — тоже нонче и съ дипломами-то!.. Что и дипломъ, коли карьеръ нѣту?

— Ну, какъ карьерамъ не быть? Зналъ я медвѣдя одного, Топтыгина-генерала — еще Некрасовъ Николай Алексѣевичъ его біографію написалъ. Такъ онъ, какъ институтъ земскихъ начальниковъ стали вводить, сообразилъ и явился по начальству:—А какъ, спрашиваетъ, по предначертаніямъ? медвѣжьихъ угловъ сія реформа коснется или обойдетъ ихъ втуне?—Нѣтъ-съ, говорятъ, какъ можно обойти? имѣются въ виду.—Въ такомъ случаѣ, будучи знатокомъ лѣсного быта, и какъ самъ природный служилый медвѣдь, желалъ-бы послужить дѣлу порядка вѣрою и правдою.—Милости просимъ, ваше превосходительство!.. Что же бы вы, сударики, думали? До самой смерти—не то, что морошка, — безъ убоины за трапезу не садился, — вотъ оно какъ! И ни одинъ мужикъ на него съ рогатиною идти не дерзалъ,—да-съ! Вотъ какія карьеры-то бываютъ.

— Хорошо тоже,—мечтательно произноситъ четвертый медвѣженокъ, — на медвѣдихѣ богатой жениться, и чтобы берлога у нея была, и кладовка...

— Нѣтъ карьеръ! нѣтъ карьеръ!—стонутъ медвѣжата.

И поникаетъ думнымъ рыломъ старый медвѣдь: дѣтей напложено до страсти, а карьеръ, открывающихъ имъ морошечныя перспективы, что-то, и впрямь, не видать. А, что и видно, — какое-то темное, сомнительное, хищническое, что коробитъ всю душу въ старомъ Медвѣдѣ... Нѣтъ карьеръ, нѣтъ карьеръ!

Молодыя медвѣдицы—дочери, внучки—старика окружатъ.

— Вы бы замужъ, что ли, шли, - говоритъ Медвѣдь.

— Не за кого, папенька,—не берутъ. Приданаго нѣтъ.

— Да и что за радость—замужъ?! Я, папенька, феминистка!

— Это что же такое, душенька?

— А это, папенька, если я, къ примѣру сказать, въ лѣсу улей запримѣчу, такъ сейчасъ же сама изъ него весь медъ слопаю, а мужу и понюхать не дамъ...

Такъ лѣтуетъ старый Медвѣдь, въ мечтаньяхъ и разглагольствіяхъ, на брусничныхъ и морошечныхъ заросляхъ. Онъ внемлетъ, а кругомъ бредятъ карьерами и морошкою.

Бѣжитъ осень, валятся листья, отгорѣла брусника на кочкахъ... и тише медвѣжій бредъ, и рѣже мечты... и нагляднѣе, и насмѣшливѣе, вмѣстѣ съ первыми заморозками, ударяетъ медвѣжья дѣйствительность... и жмутся другъ къ другу медвѣди, и думаютъ, глядя другъ на дружку: морошка-то ау! И съ какого чорта, спрашивается, мы о ней воздушные замки строили? Дѣло-то до коры съ глиной доходитъ... Эхъ ты, жизнь медвѣжья! Кому—жить, а намъ... карьеровъ нѣтъ!..

Старый Медвѣдь смотритъ на родъ свой, и ему горше всѣхъ: самъ-то онъ притерпѣлся, а ребятъ жалко.

— Аль мы проклятые какіе,—мыслитъ онъ,—что намъ и просвѣта нѣтъ?

Надъ головой его проносится черная тѣнь, хлопаютъ мощныя крылья. Это—Воронъ.

— Чего тебѣ?—угрюмо спрашиваетъ Медвѣдь.

— Ничего,—равнодушно отвѣчаетъ вѣщая птица,—прилетѣлъ посмотрѣть, не поколѣлъ ли кто изъ васъ. Глины-то много-ли въ запасѣ?

— На исходѣ.

— Поколѣете!—убѣжденно говоритъ Воронъ и чиститъ носъ. Досадная самоувѣренность чернаго хищника производитъ въ апатической душѣ Медвѣдя внезапную реакцію.

— Натка-сь! выкуси! — восклицаетъ онъ съ послѣднею живостью, — и съ проворствомъ юркнувъ въ берлогу, — засовываетъ лапу въ пасть, и засыпаетъ, храня на рылѣ столь блаженное выраженіе, точно челюсти его пережевываютъ мясо молодого барашка. За нимъ слѣдуютъ всѣ остальные медвѣди всѣхъ возрастовъ, мастей, направленій, партій и мечтаній. Ибо всѣмъ имъ внушено отъ младыхъ ногтей: что бы надъ медвѣжьимъ родомъ не стряслось, памятуйте, дѣтушки,—спячка есть медвѣжья панацея.

— Да не зайдетъ день твой въ гнѣвѣ твоемъ! — лепечутъ они на сонъ грядущій. Воронъ, зная, что медвѣди въ занятой ими позиціи неуязвимы, съ карканьемъ летитъ прочь. И тишь воцаряется надъ медвѣжьимъ царствомъ. И только три чужачки-молодицы, медвѣдицы-инородки будятъ лѣсное эхо болѣзненнымъ, бормочущимъ бредомъ сквозь тяжелый, полный скорбныхъ видѣній, сонъ:

— Погубитель! деспотъ! Китъ Китычъ!

А мужья, видя во снѣ, будто г. Грингмутъ даромъ выслалъ имъ «Московскія Вѣдомости», отзываются шипѣніемъ:

— Змѣя! Змѣя! Змѣя!

1900.

Сказка о легкомысленной блохѣ и ея житейскихъ огорченіяхъ.

Посвящается коллегамъ газетной страды.

Motto:

Viribus unitis res parvae... dilabuntur!

Жила-была Блоха. И была она легкомысленна. По крайней мѣрѣ, такъ аттестовали ее другія кусательныя насѣкомыя. Въ томъ числѣ и свои сестры-блохи:

— Легкомысленная блоха! Безпринципная блоха!

А Иванъ Ивановичъ Клопъ добавлялъ басомъ изъ щели:

— Жаль мнѣ Блоху. Пропадетъ Блоха ни за понюхъ табаки. Жаль. И талантъ ей кусательный отпущенъ отъ природы, и прыткость изрядная: на сто корпусовъ выше самой себя скачетъ. И по бѣлому свѣту Блоха попрыгала: образованная! Видывала людей всякой кожи и крови, — а вотъ глубины мысли, да традицій, да принциповъ ей Богъ не далъ.

Кусательныя насѣкомыя почтительно выслушивали умныя рѣчи Клопа, а наиболѣе юныя и любознательныя вопрошали:

— Иванъ Ивановичъ! Какія, собственно, суть блоши-

ныя традиціи, и чѣмъ эта недостойная Блоха имъ измѣняетъ?

Иванъ Ивановичъ отвѣчалъ:

— Въ томъ, судари мои, заключается легкомысліе ея и недостойность, что куслива-то она весьма, да не по расписанію кусаетъ. А насѣкомое солидное должно кусаться съ основательностью, соблюдая строгую вѣрность программѣ.

— А что такое программа, Иванъ Ивановичъ?—любопытствовали насѣкомыя. Онъ объяснялъ:

— Программа, друзья, есть слово иностранное, и значитъ оно по-русски—умѣренность и аккуратность. Золотыя, сударики мои, качества! Кто ими проникнутъ и напитанъ, тотъ, можно сказать, всю книгу жизни насквозь постигъ и весь вѣкъ до конца дней своихъ безбѣдно въ родимой щели прожуируетъ.

— А вы, Иванъ Ивановичъ, вы? Вы умѣренны и аккуратны?

— Я? Господи Ты Боже мой! Да какъ же мнѣ умѣреннымъ и аккуратнымъ не быть, коли я всю молодость свою у самого Алексѣя Степановича Молчалина въ турецкомъ диванѣ прожилъ? Хе-хе-хе! Лиза, горничная, меня изъ кухни—вотъ этакаго—на лифчикѣ занесла, да въ амурныхъ попыхахъ на диванѣ и оставила. Почтенный человѣкъ былъ Алексѣй Степановичъ, мужъ совѣта, добродѣтельный. Сосешь, бывало, кровь изъ него, такъ и чувствуешь, какъ въ тебя программа переливается. Мудрый-съ!

— Но вѣдь вы-то, Иванъ Ивановичъ, все-таки, либералъ?

— Либералъ-съ. А на счетъ чужой кожи даже большой либералъ. Да вѣдь что же? Либерализмъ, сударики, не грѣхъ, а грѣшны лишь неумѣлыя проявленія либерализма. А ежели кто, какъ я, отъ самого Алексѣя Степановича программу всосалъ, такъ тому и либерализмъ—сполагоря.

Даже въ пользу! Потому—такой клопъ ко всѣмъ оборотамъ жизни заранѣе пріуготовленъ. Знаетъ, когда слиберальничать, знаетъ, когда начальству угодить. А вотъ Блоха-съ въ молчалинскомъ диванѣ не жила,—оттого она принциповъ къ жизни и не имѣетъ.

— Еще бы!—хоромъ хохочутъ кусательныя насѣкомыя.—Откуда ей, шельмѣ, принциповъ набраться? Всю жизнь по актерикамъ, да по танцоркамъ прыгала. Извѣстно, какой это народъ. Самый легкомысленный народъ!

— Легкомысленный и безпринципный!

— Безпринципный и легкомысленный!

Другой Клопъ скрипитъ, — Петръ Ивановичъ — изъ другой щели:

— Изъ-за ея безпринципной неосторожности и мы всѣ рискуемъ въ отвѣтъ попасть, подъ персидскій порошокъ этотъ... фи! для клопа съ возвышенными чувствами—abominable!.. Я понимаю: кусать. Я самъ кусака, это наше назначеніе—кусать, мы, nous autres punaises, не можемъ не кусать. Но—знайте же мѣру, mes chers! Уши выше лба не растутъ. Кусай, но кусай по чину!

— Золотыя ваши слова, Петръ Ивановичъ!—восторгались насѣкомыя, а Иванъ Ивановичъ изъ молчалинскаго дивана одобрительно откликался.

— Вѣрно-съ. Кусать кусайся, а табели о рангахъ забывать не моги. Вотъ, скажемъ къ примѣру, живемъ мы съ вами теперича на куфнѣ у господъ Звѣздинцевыхъ и Бога за свое благодушество хвалимъ. Такъ ужъ я и знаю свой терминъ: въ господскую спальню не ползу. Потому имѣю соображеніе. Коль скоро я, заползши въ перину къ господину Звѣздинцеву, растерзаю его плоть, явится это ощущеніе для господина Звѣздинцева новымъ, непривычнымъ, неожиданнымъ. И, — отъ новости, пробудясь, — можетъ господинъ Звѣздинцевъ меня, въ испугѣ, прихлопнуть ладонью, и останется отъ меня мокренько. А если господинъ Звѣздинцевъ меня не прихлопнетъ на мѣстѣ, то завтра по

утру, пія кофей, все же непремѣнно скажетъ своей супругѣ:—Душенька! въ прошедшую ночь что-то ползучее меня пренепріятно кусало. Должно быть, у насъ клопы развелись. Распорядись, чтобы люди хорошенько вытрясли перину и посыпали ее персидскимъ порошкомъ. Стало быть, помимо мѣры, лично противъ меня, клопа Ивана Ивановича, направленной, получится еще мѣра общая, преслѣдующая цѣль истребленія всего клоповьяго рода, чрезъ персидскій порошокъ. Такъ ли я говорю, или не такъ-съ?

Насѣкомыя безмолвно, но восторженно лапкоплескали. Иванъ Ивановичъ Клопъ самодовольно продолжалъ:

— Вотъ почему я, жалѣя себя и весь клоповій родъ, никогда не кусаю ни господъ Звѣздинцевыхъ, ни барченка Вово, ни барышню Бетси, ни родню ихъ, ни гостей ихъ, ни даже камердинера Федора Ивановича, горничную Таню и франта-лакея Григорія, хотя у нихъ и кожа тонкая, и кровь вкуснѣе, наигранная отъ сладкой пищи. Но демократически выжидаю, покуда уснутъ кухарка Лукерья или другъ ея, Старый Поваръ, и тогда, спустясь на нихъ изъ щели, кусаю и сосу въ полное удовольствіе. Это и питательно, и вкусно, и безопасно. Потому что кухарка Лукерья и Старый Поваръ — люди простые, ѣдятъ пряники неписанные. Они привыкли служить пищею клопу, они почти готовы видѣть свое провиденціальное назначеніе въ томъ, чтобы клопъ ихъ ѣлъ. Вотъ-съ. Оттого я, Иванъ Ивановичъ Клопъ, и живу, сытъ, жиренъ и благополученъ, что знаю, кого позволительно кусать-съ и когда кусать-съ. А Блоха... Нѣтъ, она себѣ шею сломитъ! Высоко прыгаетъ Блоха! Легкомысленна Блоха! Легкомысленна и безпринципна!

И вторилъ хоръ:

— Легкомысленна! дерзка! безпринципна!

— И себя погубитъ, и другихъ подъ персидскій порошокъ подведетъ!

Иногда Блоху приводило въ ярость тупое лицемѣріе ея кусательныхъ коллегъ, и, въ мстительномъ негодованіи она бросалась на кого-либо изъ насѣкомыхъ-Молчалиныхъ и закусывала его на смерть. Тогда прочіе бѣжали, кто куда гораздъ, но, удирая, не забывали кричать другъ другу:

— Вы видѣли? Она уже бросается на своихъ! Ну, не правду ли мы говорили, что у нея нѣтъ никакихъ принциповъ?

А пальцы надвигались...

— Да, помогите же мнѣ, чортъ васъ возьми!—въ бѣшенствѣ говорила Блоха кусательнымъ насѣкомымъ. — Вѣдь свои же мы, наконецъ! Въ одной каторгѣ-то маемся!

Но они отвѣчали:

— То-есть, какъ вамъ сказать? Конечно... хотя... впрочемъ... однако... мы, собственно, никогда не были одного лагеря. А затѣмъ, видите ли, вѣдь вы, говоря правду, сами виноваты. Такая безпринципная неосторожность... Нѣтъ! Нѣтъ! Будь, что будетъ! Мы умываемъ лапки и утираемъ щупальцы. Ибо, если мы примемъ вашу сторону противъ пальцевъ, то боимся, не посыпали бы насъ всѣхъ персидскимъ порошкомъ.

И увидала Блоха, что стоитъ она на бѣломъ свѣтѣ однимъ-одна, одна-одинешенька, и осѣнилъ ее духъ отчаянія. И выпрямилась Блоха, и возопила она во весь свой блошиный голосъ:

— Коли такъ, погибни, душа моя, съ филистимлянами!

И сама бросившись прямо на грозные пальцы, принялась кусать и язвить ихъ, такъ что пальцы завизжали, покраснѣли, распухли, болѣзненно щелкая дружка о дружку верхними суставами. А Блоха неистовствовала и, гордая своимъ предсмертнымъ азартомъ, воображала, что она— Самсонъ.

Но то продолжалось лишь одно мгновеніе. Въ слѣдующее—Блоха, какъ маковая росинка, чернѣла въ карающей рукѣ между перстами большимъ и указательнымъ...

— Умираю за свободу кусаться!—успѣла слабо пискнуть она. Презрительный смѣхъ кусательныхъ насѣкомыхъ былъ ей отвѣтомъ.

Ноготь щелкнулъ. Отъ Блохи осталось маленькое коричневое пятнышко. Это былъ ея единственный некрологъ. Но между кусательными насѣкомыми о ней до сихъ поръ разсказываютъ сказки дѣтямъ, заключая ихъ полезнымъ нравоученіемъ:

— Вотъ, что значатъ легкомысліе и безпринципность!

Дѣти ужасаются и научаются быть принципіальными и глубокомысленными.

Но персидскимъ порошкомъ всѣхъ ихъ, все-таки, время отъ времени посыпаютъ. И тогда они дохнутъ коллективно. И въ коллективномъ издыханіи находятъ нравственное удовлетвореніе.

1901.

Нефтяныя неожиданности.

Редакторъ одного спеціальнаго изданія въ далекой нефтепромышленной провинціи обратился ко мнѣ съ предложеніемъ написать нѣсколько фельетоновъ для его газеты. Предложеніе смутило меня, и я съ смиреніемъ отписалъ, что въ керосиновыхъ вопросахъ слабъ — до неумѣнія хорошенько заправить лампу, висящую надъ моимъ письменнымъ столомъ... Редакторъ отвѣчалъ мнѣ въ такомъ родѣ, что—«ну, какъ, молъ, это опытный литераторъ не сможетъ выжать изъ себя нѣсколькихъ капель керосиноваго вдохновенія? Если не боги горшки обжигаютъ, то тѣмъ менѣе боги сочиняютъ!» Человѣкъ слабъ, любитъ, чтобы въ него вѣрили! Вѣра бодритъ память и придаетъ силы. (Этотъ афоризмъ—не изъ Козьмы Пруткова!) Я постарался вспомнить всѣ немногочисленные случаи, когда нефть и люди нефти встрѣчались мнѣ на пути моей пестрой, измѣнчивой жизни, и результатомъ воспоминаній являются предлагаемыя читателю «Нефтяныя неожиданности».

I.

Самая удивительная изъ нефтяныхъ неожиданностей,— по крайней мѣрѣ для меня, — конечно, та, что я пишу о нефти. Съ полной искренностью предупреждаю читателя,

*

что нѣтъ въ Россіи человѣка, слабѣе меня освѣдомленнаго по нефтянымъ вопросамъ. Я имѣю понятія о нефтяномъ дѣлѣ меньше, чѣмъ даже петербургскіе акціонеры нефтяныхъ товариществъ и компаній, а это — очень мрачная отмѣтка, потому что я знавалъ на берегахъ Невы не только простыхъ акціонеровъ, но даже сильныхъ воротилъ керосиновыхъ, которые сами искренно вѣрили и другихъ убѣждали, что главный бассейнъ русской нефти помѣщается отнюдь не въ Баку и Грозномъ, но въ Петербургѣ же, на Морской улицѣ, въ низкѣ ресторана Кюба. Я никогда не видалъ, какъ нефть превращается въ керосинъ, но мнѣ случалось наблюдать, — именно, въ вышеназванномъ всероссійскомъ бассейнѣ,—какъ изъ нефти дѣлаютъ шампанское и, наоборотъ, какъ шампанское иногда перерабатывается въ очень выгодную нефть. Я даже могу похвалиться, что лично субсидировалъ нефтяную промышленность, потому что однажды далъ двадцать пять рублей взаймы эксъ-милліонеру, у котораго фонтаны не то перестали бить вовсе, не то били ужъ черезчуръ усердно—такъ что его нефть, за перепроизводствомъ, потеряла цѣнность на всѣхъ рынкахъ земного шара, продавалась дешевле воды даже въ Буэносъ-Айресѣ и годилась только на то, чтобы топить въ ней банкротовъ, начиная съ фонтанохозяина. Мои двадцать пять рублей эксъ-милліонеръ тутъ же, на моихъ глазахъ превратилъ въ завтракъ съ двумя бутылками шампанскаго, выставленными какому-то очень черному и малоумытому господину, чье настоящее рекомендовалось драгоцѣннѣйшими перстнями на корявыхъ пальцахъ, а прошлое изобличалось страшнымъ шрамомъ подъ лѣвымъ глазомъ и пробѣлами въ желтыхъ зубахъ, обязанными своимъ происхожденіемъ, по всей видимости, не щипцамъ дантиста. Признаюсь, по неопытности, я было посѣтовалъ на легкомысленную и, казалось бы, совершенно непроизводительную расточительность эксъ-милліонера, но дня черезъ три имѣлъ удовольствіе услыхать, что мой парень понималъ свое дѣло

тонко и зналъ, кого надо чествовать и угощать. По манію малоумытаго господина съ зубными пробѣлами, злополучные фонтаны не то забили снова, не то сократили свое біеніе, — словомъ, сдѣлали какъ разъ то самое, что отъ нихъ требовалось, дабы счастливый обладатель ихъ могъ сшить себѣ шубу на зиму и пріобрѣсти новые панталоны въ клѣтку. Затѣмъ, я встрѣтилъ его уже па собственныхъ лошадяхъ; затѣмъ видѣлъ издали въ ложѣ Михайловскаго театра съ прелестною женщиною, у которой, судя по бриллiантамъ въ ушахъ и на пальцахъ (перчатки тогда уже переставали носить! А теперь носятъ?), не могло быть менѣе десяти друзей дома, каждый съ доходомъ тысячъ по пятидесяти, по сту въ годъ; затѣмъ рысаки моего пріятеля стали скакать и бѣгать на столичномъ ипподромѣ, а «Петербургская Газета» и «Петербургскій Листокъ» начали поминать владѣльца ихъ «о азаръ», величая его «нашимъ извѣстнымъ финансистомъ»: званіе, какъ извѣстно каждому петербуржцу, настолько зыбкое, что иные скептическіе умы принимаютъ его за ругательство. И, наконецъ, великодушный пріятель мой даже возвратилъ мнѣ мои двадцать пять рублей, что, говорятъ, — уже совсѣмъ большая и почти неслыханная нефтяная неожиданность. Вотъ—наилучшій и поучительнѣйшій примѣръ легкости, съ какою даже незначительное количество шампанскаго можетъ быть химически превращено и расширено въ резервуаръ наидоходнѣйшей нефти. Sapienti sat! «Слыши, Израиль»!

При всемъ своемъ нефтяномъ невѣжествѣ, я время отъ времени приходилъ въ случайныя соприкосновенія съ міромъ нефти, всегда чрезвычайно странныя и иногда даже какъ бы мистическія. Въ славномъ городѣ Т., вѣроятно, живы еще свидѣтели, которые, въ веселые часы свои, не безъ удовольствія вспоминаютъ и передаютъ другъ другу святочные разсказы про мою сверхъестественную двухмѣсячную службу въ контролѣ Закавказской желѣзной дороги. Необыкновенность ея создалась тѣмъ обстоятельствомъ, что

я ни за что не хотѣлъ служить и былъ затащенъ въ контроль только-что не на казацкомъ арканѣ, а отказаться отъ службы, по нѣкоторымъ отношеніямъ, никакъ не могъ: начальство же, которому меня навязали, тоже съ удовольствіемъ подарило бы меня знакомому чорту, да тотъ былъ малый себѣ на умѣ и не бралъ,—и злополучное начальство должно было просить меня Христомъ Богомъ:

— Подождите! Не уходите! Послужите еще хоть малую толику! Ну, хоть дѣлайте видъ, что служите! не компрометируйте насъ предъ его высокопревосходительствомъ!

Продолжались эти препирательства недѣли двѣ или три. Въ теченіе ихъ и я, и начальство,—мы чувствовали другъ къ другу величайшую служебную ненависть и величайшую внѣслужебную симпатію,—неоднократно плакали взаимно въ жилеты другъ друга, проклиная коварство судьбы, сочетавшей насъ обоюдонепріятными узами. Положеніе напоминало тѣ злосчастныя семьи, гдѣ мужъ и жена одинаково жаждутъ свободы, но не могутъ получить развода. Наконецъ, начальство осѣнилъ геній изобрѣтательности.

— Вамъ не надо бѣжать отъ насъ,—рекло оно.— Мы найдемъ вамъ и въ нѣдрахъ нашей службы занятіе, вполнѣ согласное съ вашими литературными наклонностями.

— А именно?

— Мы будемъ поручать вамъ составленіе проектовъ, отъ насъ исходящихъ.

Я обрадовался, подумалъ, и сказалъ:

— Жоли!!!

— И вотъ вамъ, для перваго дебюта, тема: о необходимости для 3—ой желѣзной дороги перейти на мазутное топливо. А вотъ-съ вамъ къ сему и матеріалы. Черезъ недѣльку будемъ ждать отъ васъ проекта. До пріятнѣйшаго свиданія!

Я ушелъ домой съ грудою документовъ. Разсмотрѣвъ

ихъ данныя, я увидалъ, что задача моя легка. Надо было свести къ одному знаменателю, съ многихъ листовъ на одинъ листъ, донесенія, наблюденія и вычисленія, что мазутъ, какъ топливо, выгоднѣе: а) антрацита, б) кокса, в) торфа, г) дерева, д) кизяка, е) свѣтильнаго газа, ж) стеариновыхъ свѣчей, з) старыхъ газетъ, и) сосѣдскаго дома и, вообще, всего, что могло горѣть въ прошедшемъ, горитъ въ настоящемъ и можетъ горѣть въ будущемъ. Съ помощью готовыхъ цифръ и всетерпящей бумаги, доказать было не трудно, и я доказалъ—даже не въ недѣлю, а такъ, съ одного присѣста, часа въ полтора. Теперь мнѣ оставалась еще одна обязанность, если не служебная, то субъективной добросовѣстности: узнать изъ возможно достовѣрныхъ источниковъ, что это за штука — мазутъ, коимъ я авторитетно рекомендую отапливать З—ую желѣзную дорогу, предпочтительно предъ каменнымъ углемъ, дровами и старыми газетами.

Спрошенный мною, въ качествѣ свѣдущаго человѣка, квартирный товарищъ мой широко открылъ на меня глаза:

— Мазутъ?

— Ну, да, мазутъ! Знаешь ли ты, что такое мазутъ?

— Очень хорошо знаю. Кто же не знаетъ? Въ мазутѣ дѣвокъ топятъ.

Очередь широко открыть глаза была за мной. А онъ пустился разсказывать мнѣ грозные анекдоты о бакинскихъ персахъ, которые до того ревнивы, что, разъ обладавъ женщиною, персъ уже не въ силахъ перенести мысли, чтобы она принадлежала кому-либо другому, хотя бы самъ онъ къ ней охладѣлъ, какъ сибирскій камень. Поэтому, персидскіе Отелло изобрѣли своеобразный способъ отдѣлываться отъ опостылѣвшихъ Дездемонъ, спуская ихъ въ мазутныя ямы, что, разумѣется, вполнѣ гарантируетъ ревнивцамъ вѣрность до смерти.

Неожиданность открытія такъ поразила меня, что я даже переспросилъ:

— Да, можетъ быть, тамъ не такой мазутъ? Не та марка?

Но товарищъ возразилъ мнѣ презрительно:

— Это, любезный, смирновская водка отличается на разные нумера и марки, а мазутъ, какой гдѣ ни возьми, все—мазутъ!

Потрясенный трагическимъ сообщеніемъ, я почелъ своимъ священнымъ долгомъ приписать къ проекту о мазутномъ топливѣ приблизительно такое praeterea censeo:

— Ко всѣмъ вышеизложеннымъ доводамъ въ пользу мазутнаго топлива для службъ и тяги З—ой желѣзной дороги не лишнимъ будетъ добавить и то,—хотя не входящее въ сферу желѣзнодорожной компетенціи, но зато гуманное и согласное съ культурными запросами молодого и могущественно растущаго государства нашего,—соображеніе, что черезъ сказанное мазутное отопленіе въ нефтяныхъ мѣстностяхъ сократится опасное количество мазута, служащаго нынѣ сладострастнымъ персіянамъ для уголовныхъ и въ высшей степени предосудительныхъ цѣлей, какъ-то: для утопленія дѣвицъ, имѣвшихъ неосторожность довѣрить симъ азіатцамъ свое юное, неопытное сердце...

Читая мой докладъ, кроткое начальство охало и морщилось, точно играло самую трагическую роль въ репертуарѣ мѣстнаго артистическаго общества, котораго оно было душою и воротилою. Прочитавъ же до конца, оно посмотрѣло на меня во всѣ глаза и дико:

— Вамъ... въ самомъ дѣлѣ... ужъ такъ противно... у насъ служить?—выговорило начальство съ усиліемъ, изъ чего я могъ заключить, что проектъ мой его въ восторгъ не привелъ, и случалось ему ранѣе читывать и лучшіе проекты.

— Да, вѣдь, вы знаете...

— Ахъ, ты Господи!.. Куда же мнѣ васъ?.. Ну, ступайте!.. Я обдумаю... Богъ съ вами! До свиданья!

отъ дверей оно меня-таки воротило.

— Послушайте! Откуда вы... дѣвицъ... этихъ?..

— Что-съ?

— Ну, вотъ,—будто въ мазутѣ дѣвокъ топятъ?

Я разсказалъ. Начальство пощелкало языкомъ.

— Це-це-це-це-це... Не зналъ! Вотъ, бестіи! А?

— Ужасные звѣри!

— «Повсюду страсти роковыя, и отъ судебъ защиты нѣтъ»... Это, кажется, Апухтина сочиненіе?

— Пушкина.

— А! Пушкина!.. Вотъ, въ этомъ вы толкъ знаете!.. Да! Любопытный фактецъ! Вы бы о немъ разсказецъ въ газету... въ мопассановскомъ родѣ... А?

— У меня уже у самого явилась идея... Непремѣнно!

— Да-да-да!.. Сюжетъ чудесный!.. Вы, когда напечатаете, непремѣнно пришлите мнѣ нумерокъ почитать. Я люблю этакое... съ трагическимъ движеніемъ!

— Драматическій этюдъ тоже хорошо бы!—съ аппетитомъ вообразилъ и устремился я. — Знаете, я нарочно съѣзжу въ Баку, чтобы точнѣе воспроизвести обстановку и набраться настроенія! Онъ и она, знаете... свиданіе въ Черномъ Городкѣ, у мазутной ямы... Ревнивый персюкъ подглядѣлъ—и, въ концѣ дѣйствія... кувыркъ!

— Оригинально!—съ удовольствіемъ воскликнуло начальство.—Такого конца еще ни въ одной пьесѣ не было! Вотъ, вы напишите, а мы поставимъ!

— Напишу!

— А мы поставимъ!

Мы смотрѣли другъ на друга восхищенными глазами. Но, вдругъ, стали бить часы, начальство спохватилось, что разговариваемъ мы не совсѣмъ по службѣ, и милостиво отпустило меня.

— А что мой проектъ?—осмѣлился я закинуть словечко на прощанье. Дадите вы ему движеніе или...

Начальство посмотрѣло на меня, высоко поднявъ брови:

— Какой проектъ?.. Ахъ, да, проектъ!.. Вы называете «это» проектомъ?.. Вашъ проектъ!.. Вы не безпокойтесь: я вашему проекту огласки не дамъ, о немъ никто не узнаетъ!.. Останется между нами двоими!.. Впрочемъ, вотъ,—чтобы васъ не грызли сомнѣнія...

И начальство бросило рукопись въ каминъ. Только огненные языки забѣгали и дымокъ завился! Я смотрѣлъ на auto da fé съ чувствомъ искренняго облегченія, а милѣйшее начальство, столь черезъ меня многострадальное, съ большимъ удовольствіемъ вспоминаю и сейчасъ. Это каминное приключеніе было, кажется, первымъ случаемъ, что мазутъ, хотя косвенно, сыгралъ нѣкоторую роль въ русскомъ желѣзнодорожномъ отопленіи, въ которомъ онъ или господствуетъ, или мечтаетъ господствовать теперь.

II.

Однажды въ большомъ южномъ городѣ, въ очень скверный декабрьскій вечеръ, пришелъ я въ гости къ своимъ друзьямъ — мѣстнымъ журналистамъ. Ихъ было трое, и жили они въ нумерѣ, платя, а, вѣрнѣе сказать,—охъ! не платя!—за него одиннадцать рублей въ мѣсяцъ. Когда я отворилъ дверь, она зазіяла въ освѣщенный корридоръ черною-черною дырою...

— Кой чортъ? Темно! — воскликнулъ я. — Куда они могли уйдти въ такую адскую погоду?!.

Но тутъ мракъ задышалъ элегическими вздохами, и я услышалъ:

— Мы дома, Сандро! — сказалъ имеретинъ Нигрошадзе.

— Мы дома, Сандро! — сказалъ мингрелецъ Безштанія.

— Мы дома, Сандро! — сказалъ «грузо» изъ Карталиніи Просвисталшвили.—Дома и... лежимъ!

— Садись,—продолжалъ Нигрошадзе,—но, если можешь,—не на мои ноги. Не всѣ любятъ, чтобы у нихъ на колѣняхъ лежало восемь пудовъ мяса. По замѣчанію нѣкоторыхъ ученыхъ, подъ давленіемъ тяжелыхъ грузовъ колѣна выгибаются въ обратную сторону, что неудобно и не красиво. А я—поэтъ и эстетъ.

Я сѣлъ съ осторожностью, но почувствовалъ подъ собою что-то теплое и мягкое. Прозвучалъ печальный голосъ Просвисталшвили:

— Хотя я уже нѣсколько дней не обѣдалъ, но теперь знаю, что у меня еще есть животъ.

— Что ты хочешь сказать?

— Только то, что ты на немъ сидишь.

— Господа!—возмутился я,—такъ нельзя! Надо лампу зажечь... Почему вы лежите безъ свѣта?

Кавказцы какъ-то язвительно безмолствовали. Я осмѣлился освѣдомиться о причинахъ. Нигрошадзе со спокойствіемъ возразилъ:

— На вопросы глупые излишни отвѣты умные.

Безштанія согласно крякнулъ, а Просвисталшвили сказалъ по-латыни:

— Sic!

Это было единственное латинское слово, которое Просвисталшвили зналъ, но за то зналъ твердо, и въ статьяхъ своихъ любилъ ставить его въ скобкахъ и съ восклицательнымъ знакомъ, что, впрочемъ, редакторъ неукоснительно вычеркивалъ.

Послѣ новаго безмолвія, полнаго тяжелыми вздохами, важно раздался меланхолическій голосъ мингрельца Безштаніи:

— Сверхъ всего прочаго, свѣтъ лампы можетъ развлечь насъ въ нашихъ политико-экономическихъ размышленіяхъ.

— О чемъ это?

— Мы обдумываемъ, какъ удешевить предметъ пер-

вой необходимости, въ просторѣчіи называемый керосиномъ или фотогеномъ.

— И организовать продажу его въ кредитъ по мелочнымъ лавкамъ,—прибавилъ Просвисталшвили.

— По крайней мѣрѣ, копѣекъ до пятнадцати!—закончилъ Нигрошадзе.

— Гм...—задумался я. Если-бы на пятнадцать милліоновъ рублей, это, говорятъ, можно... плевое дѣло... Я самъ, всего вчера лишь, писалъ передовую статью о поощрительномъ кредитѣ... Но на пятнадцать копѣекъ... да! мудрено!

— Самое простое средство, — сказалъ Безштанія, — постучать въ сосѣдній нумеръ къ армянину Теръ-Капиталіанцу и произвести у него внутренній керосиновый заемъ до ближайшаго гонорарнаго дня.

Пресвисталшвили уныло возразилъ:

— Боюсь, что такой рѣшительный шагъ съ нашей стороны будетъ принятъ за національное заигрываніе. Что скажетъ отечество?

А Нигрошадзе патетически провозгласилъ:

— Царь Давидъ и царица Тамара смотрятъ на насъ съ высотъ Гелатскаго монастыря!

Безштанія проворчалъ:

— Положимъ,—не кошки они: въ такихъ потьмахъ ровно ничего не увидятъ!

— Въ такомъ случаѣ,—вкрадчиво проектировалъ Просвисталшвили,—спросимъ мнѣнія Сандро: не окажетъ-ли посильной помощи дружественнымъ народамъ окраины богатый центръ, могучая мать—Россія?

Могучая мать—Россія, въ моемъ лицѣ, пошарила въ своихъ карманахъ, свистнула и заявила:

— У Россіи глаза болятъ! Предпочитаю сумерки. Лампа излишня! Да будетъ мракъ!

Безштанія холодно резюмировалъ:

— Желаніе ретроградное. Надъ вами будутъ смѣяться западныя державы!

— Эврика! — возопилъ Нигрошадзе, и мы слышали въ темнотѣ, какъ онъ ударилъ себя по лбу ладонью.

Никто не оживился.

— Ты, Нигрошадзе, уже въ третій разъ сегодня кричишь эврику, — скептически замѣтилъ брюзга и циникъ Безштанія, — и все ничего... Ждать отъ тебя идей — все равно, что дѣтей отъ имеретинскаго катера *).

— Другъ мой! — съ кротостью отвѣчалъ Нигрошадзе, — не говори дурно о катерахъ: противно слушать, когда отцы порочатъ свое потомство!.. А что до эврики, то, на этотъ разъ, дѣйствительно, эврика! самая настоящая эврика!

Ему сказали:

— Ну, если настоящая эврика, то ступай въ лавочку или посылай корридорнаго.

— «Рагинда кацо?» Отстаньте, прозаическіе люди! «Подите прочь! Какое дѣло поэту мирному до васъ»? До того-ли теперь? Я въ эмпиреяхъ! Я нашелъ способъ! Я нашелъ вѣрный способъ...

— Раздобыться керосиномъ?

Нигрошадзе сразу остылъ.

— Нѣтъ, этого я не нашелъ, — сказалъ онъ. — Но я нашелъ способъ, какъ, при помощи керосина, завоевать для Россіи Индійскій океанъ!

Послышались три зѣвка и три голоса сразу возразили:

---

*) Катеръ — мулъ, безплодная помѣсь осла съ кобылицею, а если вѣрить совершенно фантастическимъ имеретинскимъ повѣрьямъ, то катера родятся и отъ буйволицъ, и даже верблюдицъ. Любопытно, что эту небылицу повторяютъ и многіе интеллигентные туземцы, а талантливый грузинскій журналистъ покойный Илико Хонели (И. Л. Бахтадзе) защищалъ дѣйствительность факта даже печатно въ своемъ блистательномъ юмористическомъ очеркѣ о нравѣ и привычкахъ имеретинскаго катера — животнаго, полезнѣйшаго изъ ѣздовыхъ и вьючныхъ чуть не на цѣломъ свѣтѣ, но несноснѣйшаго по упрямству, злости и какой-то сатирической хитрости своего всегда враждебно и ехидно настроеннаго ума. О курьезныхъ выходкахъ катеровъ можно написать цѣлую книгу.

— Нашелъ, чѣмъ удивить!..

— Я самъ,—сказалъ Безштанія,—только-что вычислилъ: сколько милліоновъ рублей было бы у меня, если бы мнѣ принадлежало Черное море и, вмѣсто воды, въ немъ текла бы чистая нефть?

— Я скромнѣе тебя,—возразилъ Просвисталшвили, — зачѣмъ гадать о несбыточномъ? Я думалъ только о Каспійскомъ морѣ.

Нигрошадзе обидѣлся и отвѣчалъ:

— Всѣ вы — нищіе зубоскалы, фантазеры и врали! Вы недостойны того, что-бы съ вами говорилъ и открывалъ вамъ свои идеи человѣкъ практическій!

Тутъ добродушный сосѣдъ нашъ, Теръ-Капиталіанцъ,— освѣдомленный отъ корридорнаго, что мы, сидя въ нумерѣ, предвкушаемъ тьму кромѣшную, по причинамъ, не весьма отъ насъ зависящимъ,—явился на порогѣ съ лампою въ рукахъ, подобно чернобородому и длинноносому ангелу, и принялся уговаривать насъ—перейти къ нему въ нумеръ, потому что у него имѣется великолѣпный греческій хлѣбъ, брынза, нѣсколько бутылокъ кахетинскаго, а къ десяти часамъ обѣщали придти въ гости двѣ «двоюродныя сестры», съ которыми онъ познакомился вчера за полночь на Г—с—омъ проспектѣ. Мы чрезвычайно быстро приняли предложеніе добраго малаго, и только Нигрошадзе счелъ нужнымъ поставить предварительно нѣкоторый политическій ультиматумъ.

— Я пойду къ тебѣ, Теръ-Капиталіанцъ, — вздыхая, говорилъ онъ,—я буду ѣсть твой хлѣбъ и пить твое вино, такъ какъ своего вина и хлѣба у меня нѣту; но ты долженъ присягнуть мнѣ, что не отнимешь у меня горы св. Давида и рѣки Куры.

На что Теръ-Капиталіанцъ хлопалъ его по плечу, скалилъ великолѣпные зубы и любезно заявлялъ:

— Ва! что ты гаварышь! Совсѣмъ пустое гаварышь! Палытыка-малытыка гаварышь! Дэлай милость: бери себѣ

Святой Давидъ, — сколько унесешь, весь твой будетъ! Дэлай милость: бери себѣ водамъ Курамъ, — сколько пилъ, вся твоя будетъ!

То было милое, славное, старое, но совсѣмъ недавнее время, когда всѣ мы: русскіе, грузины, татары, армяне, поляки, евреи, нѣмцы, — овы, скіе, дзе, швили, ели, оглы, ія, іанцы, овичи, енки, штейны, берги, — отлично уживались между собою въ Закавказьѣ, не имѣя ни малѣйшей подробности въ международныхъ конкурсахъ на національную рѣзвость и злобность. Веселый князь А. М. Дондуковъ-Корсаковъ пробовалъ кахетинское одинаково изъ грузинскихъ и армянскихъ виноградниковъ и, хорошо попробовавъ, обѣщалъ примирить навсегда и осчастливить всѣ кавказскія національности, учредивъ портъ... на вершинѣ Сурамскаго перевала! Въ Баку затѣвали строить водопроводъ, и ласковый «Дундукъ» сулилъ пріѣхать на открытіе и даже, ради рекламы бакинской воды, выпить, ужъ такъ и быть, одинъ стаканъ оной! Все было очень «гемютлихъ» и патріархально! По Военно-Грузинской дорогѣ можно было путешествовать въ одиночку пѣшкомъ, не опасаясь разбойниковъ. Армяне, безъ всякихъ понужденій, очень охотно говорили и учились по-русски и не лѣзли съ кинжалами на русскихъ чиновниковъ. Кяримка грабилъ въ Делижанѣ, но еще со строгимъ рыцарствомъ, какъ и подобало будущему генералъ-адъютанту персидскаго шаха. Разными Наби и Мурсакуловыми еще и не пахло! Чествовали грузина Кипіани, чествовали армянина Арцруни, острилъ грузинъ Акакій Церетели, острилъ русскій Опочининъ, острилъ армянинъ Геничка Каргановъ... и никакихъ «революціевъ» изъ сего не выходило и не предвидѣлось. То старое Закавказье такъ рѣзко отличалось отъ кромѣшнаго ада раздоровъ національныхъ, утвердившагося, въ Закавказьѣ нынѣшнемъ, что оно не имѣло даже ни одного органа печати, охочаго обличать въ сепаратизмѣ патріарха Ноя, зачѣмъ тотъ осмѣлился пристать къ армянской горѣ

Арарату, когда было рукою подать до грузинскаго св. Давида, а то и до русскихъ Воробьевыхъ горъ. Покойный Величко мирно обиталъ въ Петербургѣ, печаталъ стихи въ «Недѣлѣ», спорилъ съ Викторомъ Крыловымъ о «Первой мухѣ», дружилъ съ Владиміромъ Соловьевымъ и, вѣроятно, даже не мечталъ еще о перспективахъ «Кавказа», безлично прозябавшаго въ рукахъ чиновника Тебенькова, а тѣмъ менѣе,—потомъ,—о свѣрѣпыхъ эффектахъ русскаго собранія...

III.

Прошло лѣтъ пятнадцать. Въ одномъ петербургскомъ обществѣ, дѣловомъ и сановномъ, говорили о необходимости русскимъ товарамъ, — наипаче же, конечно, какъ всегда, ситцамъ московскихъ мануфактуръ!—найти новые, дальніе рынки. Говорили о Персидскомъ заливѣ, о султанѣ Ковейта,—о томъ, какъ г. Сигма куда-то ѣздилъ на мониторѣ; о томъ, что только бы намъ найти выходъ въ Индійскій океанъ, да получить угольную станцію, а то сейчасъ же всей Чемберлэновской спѣси капутъ, — и мы защитимъ и выручимъ буровъ, увеземъ, при помощи «графа» Леонтьева, всѣ слоновые клыки изъ единовѣрной Абиссиніи, въ которой насъ терпѣть не могутъ, и чрезъ то пріобрѣтемъ средства, достаточныя, чтобы обанкротить не только рулетку въ Монте-Карло, но даже англійскій банкъ. Тогда,—будетъ слишкомъ года два назадъ!—держался въ петербургскихъ сферахъ общій тонъ такой мажорный, и даже въ газетахъ писали:

— Англія, самозванная царица морей, должна быть низведена къ тому же положенію, въ которомъ прозябаетъ нынѣ ея предшественница, отставная царица морей, Венеція.

Чемберлэна рисовалъ въ пакостнѣйшихъ видахъ г. А. Coré, коррикатуристъ «Новаго Времени», — вродѣ

антихриста въ моноклѣ. А Крюгера съ сострадательною фамильярностью величали «дядею Павломъ» и строго укоряли сосѣднія державы, что онѣ бурамъ только рукоплещутъ, а на счетъ вмѣшательства отдѣлываются жестомъ— «хабенъ зи гевидѣлъ?» Укоривъ же, восклицали съ самодовольствіемъ:

— Сказано, что гнилой Западъ!.. А ты, дядя Павелъ уповай!

Именно, въ такомъ духѣ и поддерживалась бесѣда дѣлового и сановнаго кружка, начавшись отъ дальнихъ рынковъ для миткаля и дойдя до Крюгера и Ковейта:

— Слушая разговоры о Персидскомъ заливѣ,—обратился ко мнѣ сосѣдъ мой, бывшій кормчій довольно важнаго кормила, замѣтная персона двухъ прошлыхъ царствованій,—я съ удивленіемъ припоминаю проектъ, когда-то представленный въ мое вѣдомство какимъ-то... м-м-м-мъ... грузиномъ или осетиномъ... какъ ихъ всѣхъ тамъ?... м-м-м-мъ... однимъ словомъ, изъ кон-вой-ныхъ на-родностей...

Генералъ былъ старъ, памятью слабъ, рѣчью спотыкливъ. Однако, ему удалось довольно складно разсказать мнѣ суть проекта. Авторъ предлагалъ не больше, не меньше, какъ гигантскій нефтепроводъ черезъ всю Персію отъ Каспія къ Персидскому заливу.

— Увѣрялъ, что — дайте ему нефтепроводъ, и онъ рус-си-фи-ци-ру-етъ Индійскій океанъ, подчинитъ Персію русскому про-тек-то-ра-ту и, можетъ быть, если правительство найдетъ нужнымъ, даже завоюетъ Ин-до-станъ... Очень смѣлый мо-ре-пла-ва-тель!... Потому что приливъ нефти создастъ въ Персидскомъ заливѣ русскій коммерческій флотъ и колоніи, а для охраны ихъ мы должны будемъ держать въ индійскихъ водахъ пос-то-ян-ну-ю военную эс-кад-ру... Оно, конечно, стоитъ большихъ денегъ, но всемірное расширеніе рынка и вліянія за все вознаградитъ своими вы-го-да-ми... понимаете?... А на сушѣ—

дикіе курды и народы Ме-со-по-та-мі-и... или... м-м-м-мъ... другихъ библейскихъ мѣстъ... не замедлятъ продырявить трубу нефтепровода, что будетъ, хотя убыточно, но опять-таки къ нашему благополучію, потому что дыра въ нефтепроводѣ дастъ намъ предлогъ потребовать отъ персидскаго шаха удовлетворенія, то есть, вполнѣ безобидно послать на линію нефтепровода нѣсколько тысячъ казаковъ для совершенно мирной и нейтральной цѣли — охранять неприкосновенность русскаго со-о-ру-же-нія... Очень, очень курьезно и находчиво все расписалъ!... и представьте: теперь все это... м-м-м-мъ... опять въ воздухѣ!... Вы слышите, мониторъ, Сигма, Ковейтъ... Да-а!.. Грузинъ предсказалъ!.. Тогда, положимъ, знаете, вообще, такое время было: поколѣніе а-ван-тю-рис-товъ и кон-квис-та-до-ровъ... Машковъ, Ашиновъ, Леонтьевъ... Но о Персидскомъ заливѣ для русской нефти—грузинъ предсказалъ!

— А какая судьба постигла пророческій проектъ?

— М-м-м-мъ... Похвалили за остроуміе и извинились, что, не имѣя по росписи свободныхъ суммъ, казна не въ состояніи помышлять о столь грандіозныхъ предпріятіяхъ, но не препятствуетъ автору рискнуть на пользу отечества собственнымъ капиталомъ, а дальнѣйшее видно будетъ... по вы-го-дамъ...

— А у него былъ большой капиталъ?

Генералъ воззрился на меня даже съ негодованіемъ.

— Ну, вотъ!.. Я говорю вамъ: грузинъ или осетинъ... Откуда же у грузина быть капиталу?.. Грузинъ, когда видитъ во снѣ тысячу рублей, умираетъ отъ апоплексіи, не будучи въ состояніи вмѣстить такой широкой капиталистической и-де-и!.. Звали его — князь... ну, да, конечно, князь, они всѣ князья!—князь Нигрошадзе, если не ошибаюсь...

— Нигрошадзе?!

Я живо вспомнилъ декабрьскій вечеръ, темный нумеръ, вздохи трехъ голосовъ, эврику, лампу Теръ-Капитальянца.

Такъ, нашъ упрямый и милѣйшій имеретинскій катеръ выдержалъ таки національный характеръ и потащилъ въ люди свою голодную эврику и Индійскій океанъ!

Генералъ мямлилъ:

— М-м-м-да-а... Отклонили!.. А вотъ слышу: Персидскій заливъ, угольная станція, мониторъ, Анна на шею, Ковейтъ... м-м-да-а... Нигрошадзе предсказалъ!..

Мораль этой нефтяной неожиданности:

Нефтяники! Не презирайте фантазеровъ! Пустой желудокъ часто обостряетъ второе зрѣніе! Лежа во мракѣ своей комнаты, не освѣщенной лампою за неимѣніемъ керосина, голодный фантазеръ иногда прозираетъ мысленнымъ окомъ въ мракъ будущихъ вѣковъ и художественною интуиціей находитъ блестящія керосиновыя идеи, которыя впослѣдствіи статистикъ будетъ оправдывать цифрами, журналистъ — статьями, промышленникъ—капиталами, а политикъ —посылкою мониторовъ. Настоящее безуміе поэта часто таитъ въ себѣ зерно будущей торговой и политической реальности!

1903.

БАКУ ПОДЪ ВОДОЮ.

Изъ сибирскихъ разговоровъ.

Окна были бѣлыя. Сколько градусовъ мороза трещало на дворѣ, невозможно было опредѣлить: между стекломъ и градусникомъ легъ толстый ледяной слой. А инженеръ Филиппъ Люлюковъ, сидя верхомъ на углу стола, говорилъ, говорилъ, говорилъ мнѣ о жаркомъ сверкающемъ югѣ.

— Что вы Баку жалѣете?—восклицалъ онъ и грозно жмурился на меня. Вы Баку не жалѣйте! Не за что! Туда ему и дорога.

— Помилуйте, Люлюковъ! Какъ же не жалѣть? Вспомните исторію пророка Іоны и Ниневію, которую Богъ пощадилъ за то, что въ ней было десять тысячъ младенцевъ, не умѣющихъ отличить правой руки отъ лѣвой.

Филиппъ Люлюковъ развелъ руками, сморщилъ носъ и возразилъ презрительно:

— Съ сантиментальностями вы далеко не уѣдете.

— Что же дѣлать, Люлюковъ?

— Притомъ,— что вы тамъ такое о младенцахъ?.. Потопъ, который опуститъ Баку на дно морское, будетъ прибывать послѣдовательно и постепенно въ теченіе двадцати лѣтъ. Надѣюсь, что въ этотъ срокъ можно вывезти изъ Баку всѣхъ младенцовъ.

— Я думаю даже, что многіе изъ нихъ успѣютъ вырости до призыва къ отбыванію воинской повинности.

— Вотъ, видите.

— А, нефть, Люлюковъ? А нефть? Неужели вамъ не жаль нефти?

Люлюковъ даже оскалился на меня.

— О какой нефти вы безпокоитесь?

— О всякой, Люлюковъ! Вы ужасны — съ вашимъ противобакинскимъ проектомъ! Вы хотите утопить Ореста и Пилада, Каина и Авеля, Нобеля и Ротшильда, лишить Россію керосина, К. А. Скальковскаго—жалованья, петербургскій ресторанъ Кюба гостей—нефтяниковъ... Въ день, когда свершится ваше искусственное наводненіе въ Баку, Петербургъ постигнетъ совершенно естественное наводненіе: слезы биржевиковъ хлынутъ въ каналы, и—«всплыветъ Петроноль, какъ тритонъ, по поясъ въ воду погруженъ».

— Успокойтесь, — сказалъ великодушный Люлюковъ,—по расчету моего проекта, потопъ въ Баку начнется не ранѣе, чѣмъ черезъ сорокъ или пятьдесятъ лѣтъ.

— Не считайте меня настолько жестокосердымъ эгоистомъ, чтобы я не страдалъ отъ мысли, что вы разорите и заставите плакать моихъ, — навѣрно, намѣревающихся играть на биржѣ,—правнуковъ!

— Да не о чемъ будетъ правнукамъ плакать!

— Неужели вы думаете, что правнуки наши будутъ такъ умны, что перестанутъ играть на биржѣ? Въ такой быстрый прогрессъ человѣческаго интеллекта я не вѣрю.

— Ни я!

— А, разъ будетъ жива биржевая игра, будутъ живы и нефтяныя бумаги.

— Только не на бакинскую нефть.

— На какую же?

— Не знаю, но не на бакинскую.

— Warum?

— Darum, что сорокъ или пятьдесятъ лѣтъ спустя бакинскія нефтяныя земли будутъ стоить столько же, сколько теперь стоятъ золотыя розсыпи на Рейнѣ. Вы слыхали, что на Рейнѣ были когда-то золотыя розсыпи?

— Читалъ въ древней исторіи.

— Къ половинѣ двадцатаго вѣка въ древнюю исторію войдутъ и легенды о бакинскихъ нефтеносныхъ земляхъ.

— Что-же съ ними станется?

— Ихъ изсосутъ, а изсосанное частію сгоритъ, частію будетъ описано судебными приставами.

Я подумалъ и сказалъ:

— Въ такомъ печальномъ случаѣ, — если вы даете честное слово, что предварительно вывезете младенцевъ,— Богъ съ вами... топите Баку!..

— Утоплю! сказалъ Люлюковъ съ спокойствіемъ Нерона.

— А много денегъ надобно вамъ, чтобы осуществить вашу... утопію,—простите за плохой каламбуръ?

Люлюковъ отвѣчалъ съ еще большимъ спокойствіемъ:

— Пустяки! Для перваго начала—двѣсти шестьдесятъ милліоновъ рублей.

— Только-то?

— Не больше.

Я съ убѣжденіемъ резюмировалъ:

— Никогда не слѣдуетъ отказывать себѣ въ удовольствіи, если оно дешево. Топите Баку, Люлюковъ! Топите Баку!

Нероническіе замыслы противъ Баку являлись только ничтожною подробностью грандіознаго проекта, поглотившаго уже нѣсколько лѣтъ жизни инженера Люлюкова. Дѣло шло не больше, не меньше, какъ о созданіи... внутренняго русскаго океана! Не изумляйтесь: живя въ Сибири и обращаясь съ сибирскою интеллигенціей, мнѣ случалось читать и выслушивать проекты и еще шире! Я такъ думаю, что настоящій вдохновенный прожектеръ, въ родѣ того, кото-

раго изобразилъ Маркъ Твенъ въ своемъ романѣ «Американскій Претендентъ»,—фантастическій прожектеръ Жюль Вернова размаха, — теперь только въ Сибири и остался. Подобно зубру вымирающему, онъ встрѣчается изрѣдка между одинокими, неволею или полуволею, либо авантюризмомъ заброшенными въ морозные медвѣжьи углы, образованными неудачниками, которыхъ фантазію окрыляютъ увлекательная ширь и мертвыя богатства сибирскаго простора,—а досуги длинныхъ темныхъ вечеровъ и тяжелое захолустное бездѣлье даютъ имъ время придавать капризамъ фантазіи большую или меньшую вѣроятность и переливать ея образы въ остроумныя гипотезы и теоремы.

Инженеръ Люлюковъ собирался подарить Россіи внутренній океанъ, затопивъ Арало-Каспійскую низменность поднятіемъ уровня морей Каспійскаго и Аральскаго. Идея очень не нова. Еще въ семидесятыхъ годахъ прошлаго вѣка ее пропагандировалъ нѣкій подполковникъ Блюмъ, предлагавшій превратить городъ Астрахань въ глубокій портъ, направивъ въ Каспійское море воды рѣки Дона, черезъ каналъ, прорытый долиною рѣки Маныча къ устью рѣки Кумы. Инженеръ Данилевскій проектировалъ въ тѣхъ же годахъ соединеніе морей Чернаго и Каспійскаго Манычскимъ же каналомъ, но съ прибавкою питанія изъ водъ Терека и Кубани. Существовали планы — возстановить теченіе Аму-Дарьи по древнему ея руслу, съ устьемъ въ Каспійское море. Вообще, вопросъ о глубокомъ Каспіи и искусственномъ возрожденіи доисторически усохшаго океана, жалкими остатками котораго сохранились два озера-моря и закаспійскіе пески и солончаки, давно волнуетъ предпріимчивые умы. Даже авторитетные географы, какъ, напр., покойный Венюковъ, не отказываютъ ему въ вѣроятности. Венюковъ прямо признавалъ его очереднымъ къ разрѣшенію въ русскомъ двадцатомъ вѣкѣ, чтобы люди двадцать перваго уже имѣли удовольствіе плавать по собственному Средне-Азіатскому океану... Выгоды и

возможности замѣны пустынь моремъ давно вычислены и доказаны. Воспользоваться же ими — одна остановка: чтобы наводнить мѣстность, нужна вода, а воды занять — неоткуда.

Когда я напоминалъ инженеру Люлюкову о старыхъ затѣяхъ, предупредившихъ его проектъ, — онъ заставилъ меня прочитать по этой части цѣлую литературу!—инженеръ Люлюковъ пренебрежительно восклицалъ:

— Какая ерунда!

Въ особенности, возмущали его предложенія обмелить Черное море въ пользу Каспійскаго:

— Переливать воду изъ моря въ море, — вопилъ онъ, — это хуже, чѣмъ изъ пустого въ порожнее!

— Позвольте-съ, — вопрошалъ онъ меня саркастически: — какія цѣли преслѣдуетъ наводненіе Арало-Каспійской низменности?

— Ученые сулятъ, что оно совершенно перемѣнитъ климатъ Россіи и Западной Сибири, и мы будемъ имѣть новый Крымъ, новую Малороссію, новое Черноморское побережье.

— Но не ясно ли, что, если мы пріобрѣтемъ ихъ цѣною обмелѣнія Чернаго моря, то утратятъ свой хорошій климатъ старая Малороссія, старый Крымъ, старое Черноморское побережье?

— Да, какъ будто—по логикѣ—оно выходитъ такъ. Съ удаленіемъ причины удаляется и слѣдствіе.

— То-то я и говорю: переливаніе изъ пустого въ порожнее... Носъ вывязилъ, хвостъ увязилъ!.. Воду надо достать не оттуда, гдѣ она необходима, какъ драгоцѣннѣйшій даръ Божій, но оттуда, гдѣ она пропадаетъ по пусту и совершенно безполезна.

— Что-й-то будто такихъ водъ не имѣется на земномъ шарѣ?

— Нѣтъ-съ, имѣются!.. Скажите: какую пользу человѣчеству приносятъ, на какую культурную потребу идутъ

массы водъ, уносимыхъ сибирскими рѣками въ Сѣверный Ледовитый океанъ? Подъ извѣстными широтами это огромное водное богатство попадаетъ въ поясъ низкихъ температуръ, исключающихъ всякую возможность цивилизаціи... даже общежитія осѣдлаго!..

— Все же вліяніе этихъ могучихъ рѣкъ умѣряетъ тамошнюю свирѣпую температуру.

— Хорошо умѣряетъ: бываютъ морозы по пятидесяти градусовъ ниже нуля, и еще злѣе!

— А безъ рѣкъ было бы семьдесятъ, восемьдесятъ!

— А вамъ не все-равно, что пятьдесятъ градусовъ, что семьдесятъ? Дышать то и на сорока уже нечѣмъ.

Я подумалъ и согласился, что, при сколькихъ градусахъ замерзнуть и обледенѣть, при пятидесяти или семидесяти,—мнѣ, пожалуй, безразлично.

Люлюковъ ораторствовалъ:

— Вотъ-съ, эту-то огромную массу безполезной сибирской воды я хочу украсть у сѣвера для своего Каспійско-Аральскаго океана... И, пожалуйста, не глядите на меня такими глазами, будто вы хотите пощупать, не холодно ли у меня за ушами! Я совсѣмъ не сумасшедшій, да, наконецъ, правду сказать, и идея эта не очень то моя... Ее еще въ шестидесятыхъ годахъ возымѣлъ нѣкій инженеръ Демченко... Слыхали вы такую фамилію?

— Не помню,—можетъ быть, и слыхалъ... Это не тоже, что Демчинскій?

— Нѣтъ-съ, не то-же!.. Вотъ какъ у насъ знаютъ и цѣнятъ величайшій и самый смѣлый русскій умъ девятнадцатаго вѣка!.. Потому что Демченко съ проектомъ своимъ принадлежитъ всецѣло девятнадцатому вѣку. Не знаю, перешелъ ли онъ въ двадцатый... Онъ долженъ быть уже старымъ старикомъ...

— Да—кто онъ таковъ? Вы не восклицайте, а рекомендуйте.

— Онъ — человѣкъ, которому въ двадцать первомъ

вѣкѣ поставятъ на площадяхъ своихъ монументы города съ милліоннымъ населеніемъ: Царицынъ, Тобольскъ и Хива.

— Почему опи именно?

— Я называю вамъ портовые города будущаго океана.

— Какъ? Ваше море будетъ подходить къ Царицыну?

— Непремѣнно.

— Но позвольте: здѣсь, на пути, Астрахань?

— Къ водянымъ чертямъ Астрахань! Есть съ чѣмъ церемониться,—съ Астраханью! Развѣ это городъ? Туда и губернаторовъ то—только для непріятности назначаютъ, вродѣ, какъ въ ссылку, если которыя провинился. Вы поймите, что, когда русскіе люди устроятъ средне-азіатскій океанъ, то въ Царицынѣ будетъ климатъ Неаполя, въ Саратовѣ и Оренбургѣ—Рима и Флоренціи. Казань станетъ въ родѣ Милана, Вятка— какъ Туринъ, а Москва—Вѣна... Какіе же, при столь очевидныхъ и несомнѣнныхъ выгодахъ, могутъ быть разговоры о вашей Астрахани и даже о Баку?

Тутъ и завязался между нами тотъ принципіальный споръ, который читатели видѣли въ началѣ фельетона. Я ходатайствовалъ за Баку, какъ Авраамъ, — за Содомъ и Гоморру: ей Богу, безкорыстно и лишь по отвлеченной любви къ человѣчеству, такъ какъ я былъ въ Баку только однажды, провелъ въ немъ всего одинъ день, а потомъ оно (или «онъ»? Удивительный городъ, о которомъ никакъ не сообразишь, какого онъ рода—мужского или средняго?!)—потомъ оно такъ мнѣ опостылѣло, что я не зналъ, какъ дождаться поѣзда въ Тифлисъ!.. Я ходатайствовалъ, а Люлюковъ упорствовалъ и, подобно пушкинскому Фаусту, требовалъ:

— Все утопить!

— Этотъ Блюмъ, — объяснялъ онъ мнѣ, — обѣщалъ правительству поднять уровень Каспійскаго моря притокомъ донскихъ водъ на три сажени, по разсчету площади въ 3.000 квадратныхъ миль, въ 95 лѣтъ. Мы съ Демченкою

затопимъ такую площадь въ десять лѣтъ, а черезъ восемьдесятъ лѣтъ — милости прошу плыть по нашему морю-окіяну изъ Тобольска въ Хиву, изъ Хивы въ Царицынъ.

— А Баку?

— Баку начнетъ тонуть на тридцатомъ году отъ начала нашихъ работъ и совершенно потонетъ къ пятидесятому году.

— Такъ. По долгу добросовѣстности, надо бы предупредить имѣющихъ акціи...

— Предупредимъ!

— Но я все-таки не понимаю: вы хотите пользоваться водами сибирскихъ рѣкъ: при чемъ тутъ сибирскія рѣки?

— Пожалуйте къ картѣ! Это что?

— Аральское море.

— А вотъ эта змѣйка, вьющаяся къ нему, называется рѣка Тургай... Видѣли?

— Дальше?

— Теперь смотрите: надъ истокомъ этого Тургая тянется рядъ озеръ... Такъ?

— Положимъ.

— Это—водораздѣлъ бассейновъ Аральскаго моря и рѣки Оби.

— Оби?

— Да-съ, потому что вотъ-съ — течетъ съ водораздѣла этого къ сѣверу рѣка Убаганъ, впадающая въ рѣку Тоболъ, а рѣка Тоболъ въ Иртышъ, а Иртышъ—въ Обь. Понимаете вы теперь, что между водами системы Оби и водами Аральскаго моря, то есть вмѣстилищемъ будущаго океана, водораздѣломъ является перешеекъ всего въ нѣсколько десятковъ верстъ протяженія, да и то—изрытый озерами? Видите ли вы, что для того, чтобы соединить воды обскія съ водами аральскими и положить начало средне-азіатскому океану, нужно употребить труда, денегъ и энергіи ничуть не больше, чѣмъ на Суэцкій каналъ, не говоря уже о Панамскомъ?!.

— Гмъ... Конечно, пошли вамъ Господь хорошую пацаму, но... Послушайте! Вообразимъ, что вашъ каналъ прокопанъ. Все же, я не понимаю, какимъ образомъ изъ канала вырастаетъ океанъ.. Воды обской системы стремятся съ Алтайскаго ската на сѣверъ. Вашъ Арало-Каспійскій океанъ проектируется на югѣ. Какимъ способомъ намѣрены вы перевернуть страны свѣта? Какимъ краснорѣчіемъ уговорите вы нимфу Оби поворотить теченіе рѣки отъ устья къ истоку?

Люлюковъ возразилъ хладнокровно:

— Очень просто: посредствомъ плотины.

— Вы запрудите Обь?

— Обь и Иртышъ. Обь—ниже устья рѣки Васюгана. Иртышъ—у Тобольска.

— Часъ отъ часа не легче! Да, знаете-ли вы, что такое Обь?

— Живалъ на ней и ѣзжалъ. Знаю.

— Обь, сударь мой, есть сила, равная двумъ Волгамъ!

— Тѣмъ лучше: больше дастъ намъ воды.

— Такъ вотъ и позволила она вамъ себя запрудить!

— А вы знаете, что такое Нилъ?

— Знаю.

— А французскіе инженеры уже тридцать лѣтъ тому назадъ брались перерѣзать его плотиною. Тридцать лѣтъ назадъ! А за тридцать лѣтъ наша наука и техника пошли впередъ настолько, что тогдашніе инженеры и мечтать не смѣли о нынѣшнихъ средствахъ...

— Да... Если Нилъ,—конечно...

— А вы знаете ли, что такое Татарскій проливъ?

— Знаю.

— А проектъ уничтожить вліяніе на Сибирь сѣвернаго холоднаго теченія плотиною черезъ Татарскій проливъ—тоже на очереди... О немъ уже и пишутъ серьезно, и говорятъ.

— Мало-ли что! Улита ѣдетъ, когда то будетъ.

— А вы знаете, что такое Нидерланды?

— Знаю.

— Часть морского дна, отгороженная отъ моря плотинами.

— Vicisti, Galilee!

Люлюковъ продолжалъ:

— Когда Обь и Иртышъ будутъ запружены, произойдетъ огромное наводненіе. Расплываясь вѣтвистымъ озеромъ, оно поднимется на тридцать пять саженъ высоты. При этой глубинѣ, воды озера находятъ себѣ истокъ — почти по прямому направленію къ югу — черезъ долины рѣки Тобола и потомъ рѣки Убагани; изъ Убагани онѣ текутъ каналомъ водораздѣла, а тамъ уже, черезъ Тургай-рѣку, и въ Аралъ... Какъ скоро Аралъ заполняется до древняго своего уровня, избытокъ воды начинаетъ стекать русломъ Узбоя... вы знаете, что называется Узбоемъ? Русло высохшаго пролива между морями Аральскимъ и Каспійскимъ... Возвративъ себѣ свои доисторическія функціи, Узбой переправляетъ сибирскія воды въ Каспій... Тутъ вѣдь уже не далеко.

— Рукою подать!

— И всему удовольствію цѣна—двѣсти шестьдесятъ милліоновъ. Съ работами и отчужденіемъ земель.

— Дешевле пареной рѣпы.

— Въ Симбирскѣ лимоны будутъ вызрѣвать, въ Васильсурскѣ персики, въ Костромѣ арбузы.

— Нельзя-ли что-нибудь и въ Вологдѣ? Мнѣ на дняхъ туда ѣхать и тамъ четыре года жить, а городъ-то, говорятъ, дрянь дрянью...

— Въ Вологдѣ ничего не будетъ: она уже подъ вліяніемъ Бѣлаго моря, то есть Ледовитаго океана!..

— Ну, хоть усовершенствованный крыжовникъ?!

— Нѣтъ, чего нельзя, того нельзя!.. Въ Вологдѣ растутъ только долги, сплетни и еловыя шишки!.. Но, говоря

серьезно, Демченко высчиталъ, что учрежденіе новаго моря, путемъ климатическихъ улучшеній россійской природы, принесетъ нашему отечеству выгоду на шестьдесятъ шесть милліардовъ.

— Шестьдесятъ шесть милліардовъ?!

— Не говоря уже о томъ, что наша восточная политика откроетъ себѣ новые горизонты, упразднивъ важность Босфора, и будетъ почти сведена на нѣтъ надобность для Россіи Суэцкаго канала...

Но я не слушалъ.

— За двѣсти шестьдесятъ милліоновъ — шестьдесятъ шесть милліардовъ?!

— Дивидендъ неопровержимый!

— И неслыханный!

— Московскіе мануфактуристы—и тѣ много меньше получаютъ!

— Другъ мой! Послѣ этого... Я согласенъ: топите Баку!..

— Утоплю! повторилъ Люлюковъ. Меня лишь одно сомнѣніе тревожитъ...

— Именно?

— Боюсь: достанетъ-ли воды на Иртышѣ и Оби?.. Испареніе, знаете, проклятое... Убыль воды въ морѣ можетъ пойти быстрѣе, чѣмъ будетъ она прибывать...

Но противъ такой несносной мнительности уже я вооружился.

— Нашли, чѣмъ смущаться! —воскликнулъ я.—Если не хватитъ воды въ Оби и Иртышѣ, мы запрудимъ Енисей!

— Правда!

— Ниже Ангары, чтобы и Байкалъ не лежалъ на боку, а на насъ работалъ!

— А отъ Байкала, буде понадобится, и къ Ленѣ прокопаться недалеко!..

— Можно тоже, прорывшись сквозь Уральскій хребетъ, направить въ Обь воды Сѣверной Двины!..

— Валяй во всѣ колокола!

— Да ужъ, если внутренній заемъ, такъ хорошій внутренній заемъ!

Такъ, въ холодный и черный сибирскій вечеръ, подъ вой степной вьюги злоумышляли мы съ инженеромъ Люлюковымъ противъ города Баку и намѣривались погубить его, какъ Содомъ и Гоморру. Роль праведнаго Лота въ этой будущей фееріи мы предназначали Александру Ивановичу Новикову, о которомъ тогда только что прочли въ газетахъ, что онъ сталъ бакинскимъ городскимъ головою...

— Мы выведемъ почтеннѣшаго Александра Ивановича изъ города,—воображалъ Люлюковъ,—строго запретивъ ему оглядываться назадъ, дабы онъ не обратился у насъ въ соляной столбъ, какъ имѣется печальный прецедентъ съ женою Лота. А, когда станемъ на горѣ, покажемъ Александру Ивановичу водную равнину и скажемъ:

— Смотрите, многоуважаемый, какая тишь... Вотъ идеалъ примиренія всѣхъ партій и картина истиннаго городского благоустройства... Тихо, чисто, прозрачно и даже зеркально...

1903.

СОЧЕЛЬНИКЪ ИВАНА ИВАНОВИЧА.

(Тоже святочный разсказъ).

Позднимъ вечеромъ, 24 декабря 1903 года, Иванъ Ивановичъ Ивановъ 1001-й возвращался домой послѣ товарищеской елки для взрослыхъ, на которой получилъ глупѣйшій въ мірѣ подарокъ: подписной билетъ на газету «Бессарабецъ», буде, паче чаянія, она станетъ выходить въ 1904 году. Нелѣпость сюрприза навела Ивана Ивановича на черныя мысли. Онъ шагалъ и думалъ, что вотъ,—если не считать «Бессарабца», онъ получаетъ десять ежедневныхъ газетъ, столичныхъ и провинціальныхъ, и, по добросовѣстности своей, просматриваетъ ихъ каждымъ утромъ отъ доски до доски, начиная заголовкомъ и кончая подписью редактора. Думалъ, что завтра Рождество, и всѣ десять газетъ столичныхъ и провинціальныхъ выпустятъ святочные номера, и въ каждомъ святочномъ номерѣ будетъ самое меньшее по десяти святочныхъ разсказовъ, и, слѣдовательно, ему, Ивану Ивановичу, опять-таки по добросовѣстной привычкѣ, придется прочитать ихъ, по крайней мѣрѣ, цѣлую сотню. И думалъ онъ еще, какъ это напрасно и тяжело, и почему, собственно, авторовъ святочныхъ разсказовъ не принято публикою утилизировать болѣе цѣлесообразными и пріятными способами, хотя бы, напримѣръ,

запекая ихъ въ тѣстѣ и потомъ подавая на рождественскій столъ, въ видѣ копченыхъ окороковъ?!

Размышленія Ивана Ивановича были прерваны слабымъ стономъ, исходившимъ изъ довольно высокаго сугроба, который намела метель подъ окнами богатаго дома. Иванъ Ивановичъ, встревоженный,копнулъ снѣгъ тростью, и—въ яркомъ свѣтѣ, падавшемъ изъ окна богатаго дома отъ роскошной елки, — явилось ему ужасное зрѣлище: въ сугробѣ лежалъ и спалъ мальчикъ лѣтъ девяти, тощій, въ лохмотьяхъ и съ совершенно синимъ лицомъ. Видъ маленькаго, замерзшаго мертвеца,—на губахъ его еще играла райская улыбка невинности! — способенъ былъ потрясти скорбью и негодованіемъ самыя зачерствѣлыя и заскорузлыя сердца и вызвать горькія слезы на глаза даже судебнаго пристава изъ страны крокодиловъ... Но, къ удивленію, Иванъ Ивановичъ, человѣкъ въ общежитіи весьма мягкосердый, при страшномъ открытіи своемъ, не только не выразилъ жалости, но напротивъ, даже какъ бы осатанѣлъ и ощетинился.

— Опять?! — воскликнулъ онъ такимъ грознымъ голосомъ, что у несчастнаго синелицаго малютки какъ будто появились признаки жизни и дрогнули вѣки. А Иванъ Ивановичъ продолжалъ:

— Послушай, каналья! маленькій притворщикъ! Долго ли ты будешь испытывать мое терпѣніе? Въ который это разъ? Пятьдесятъ лѣтъ живу я на свѣтѣ, сорокъ пять лѣтъ грамотенъ, и—хоть бы одинъ годъ провести мнѣ сочельникъ безъ того, чтобы не имѣть счастія встрѣтиться съ тобою! Чуть «падутъ на землю рождественскія сумерки», ты уже тутъ, какъ тутъ, и, «убѣжавъ отъ своего злого хозяина», глазѣешь въ окна на елку; швейцары и дворники гонятъ тебя метлами; потомъ ты «въ изнеможеніи садишься на панель», на тебя «падаетъ пушистый снѣгъ», и ты думаешь, что его звѣздочки похожи на крылатыхъ ангеловъ; потомъ видишь себя во снѣ на елкѣ у Христа

или въ раю съ твоею доброю покойною матерью, и просыпаешься уже мертвымъ... Ты видишь: я знаю наизусть твой послужной списокъ... Вставай же изъ сугроба, негодяй! Вставай, плутовская шельма! Или, клянусь тебѣ нынѣшними елками и всѣмъ святымъ, я пересчитаю твои ребра своею тростью...

— Вы звѣрь, сударь! вы тиранъ! — пробормоталъ покойникъ, оживъ при угрозѣ Ивана Ивановича съ завидною быстротою.—Вы совершенно лишены лучшаго дара человѣческой души: состраданія!

Но Иванъ Ивановичъ возразилъ съ яростью:

— Любезнѣйшій! Ты четыреста пятьдесятъ первый ребенокъ, котораго я вижу замерзающимъ въ ночь подъ Рождество! И ты еще лопочешь что-то о состраданіи? Я заслуживаю состраданія, а не ты, — я, у котораго годъ и три мѣсяца жизни, по статистической раскладкѣ, ушло исключительно на то, чтобы находить въ сочельникъ замерзающихъ младенцовъ! И — какихъ младенцовъ?! Въ прежнія времена о тебѣ разсказывали мнѣ Диккенсъ, Достоевскій... ну, тутъ хоть было чѣмъ растрогаться!.. И ты, въ самомъ дѣлѣ, былъ тогда такъ жалокъ, одинокъ, малъ... Но—теперь?! теперь?! Во-первыхъ, ты сдѣлался ужасно глупъ, скучнѣешь и пошлѣешь годъ отъ года. Во-вторыхъ, загляни въ зеркало своей совѣсти: сколько тебѣ лѣтъ? Вѣдь тебя вытянуло вверхъ, какъ молодую жирафу! Ты сталъ дылдѣе всякаго музыкальнаго Wunderkind'а! Какой ты «мальчикъ у Христа на елкѣ»? Ты просто Рауль Качальскій!

— О, заплатите за меня хоть пятачекъ! — захныкалъ было замерзшій мальчикъ, увертываясь отъ трости разгнѣваннаго Ивана Ивановича. Но Иванъ Ивановичъ даже не отвѣчалъ.

Повернувъ въ ближайшій переулокъ, онъ уперся въ довольно широкое, ярко освѣщенное окно и остановился въ изумленіи, какъ вкопанный. За окномъ онъ увидалъ

довольно уютную комнату, пылающій каминъ, а предъ каминомъ—въ старинныхъ вольтеровскихъ креслахъ—истощенную дѣвицу, когда-то, должно быть, дивной красоты, но въ настоящее время совершенно чахоточной наружности.

— Славно! — сказалъ Иванъ Ивановичъ. То есть точка въ точку, какъ въ прошломъ году!.. Да, что они? Издѣваются, что ли? Нѣтъ, на этотъ разъ я уже не потерплю...

И, поднявъ трость, онъ застучалъ ею въ окно, какъ бѣшеный. Чахоточная дѣвица въ креслахъ простерла впередъ руки, испустила странный вопль ужаса, смѣшаннаго съ восторгомъ, но... взоръ ея упалъ на столовые часы и выразилъ недоумѣніе.

— Странно! — произнесла она сквозь зубы. Почему же онъ стучитъ такъ рано? Обыкновенно, наша кувырколлегія начиналась ровно въ двѣнадцать часовъ...

Но, такъ какъ Иванъ Ивановичъ продолжалъ барабанить тростью въ окно, то дѣвица пожала плечами и бросилась къ окну, вторично вопія отъ ужаса и восторга:

— Валеріанъ!!!...

Но первый же взглядъ на бородатую физіономію Ивана Ивановича отшибъ ее отъ окна, какъ пушечный выстрѣлъ.

— Кто вы? — взвизгнула она не своимъ голосомъ. Вы не Валеріанъ!..

— Ну, разумѣется, не Валеріанъ,—насмѣшливо возразилъ Иванъ Ивановичъ. — Намъ надо объясниться, сударыня. Откройте форточку: вѣдь вы совсѣмъ не такъ больны, какъ пишутъ о васъ святочные беллетристы и тѣмъ паче беллетристки.

Дѣвица высунулась изъ форточки, взирая на строгаго Ивана Ивановича не безъ кокетливаго любопытства. Она бормотала про себя:

— Ей-Богу, оригинально!.. Еще ни одинъ авторъ... Совершенно неожиданный вводный эпизодъ!

*

— Вашъ женихъ Валеріанъ, конечно, въ дальнемъ плаваніи?—съ злобою спросилъ Иванъ Ивановичъ.

— Да, милостивый государь!

— Вы имѣли отъ него послѣднее письмо съ острова Формозы?

— Нѣтъ, милостивый государь: съ Вандименовой земли.

— Это все равно... Иногда черти уносятъ его и въ Патагонію! Вы измѣнили ему въ его отсутствіе, не правда ли?

— Увы, милостивый государь!..

Дѣвица закрыла лицо руками. Иванъ Ивановичъ говорилъ съ удовольствіемъ:

— Подѣломъ дураку! Завелъ невѣсту,—такъ женись и сиди дома!.. Новый избранникъ вашъ, конечно, оказался негодяемъ?

— Ахъ! Вамъ все извѣстно! Кто вы? Кто вы? Вы знаете все!..

— Еще бы не знать: сорокъ пять лѣтъ читаю... Теперь вы раскаялись и опять любите одного Валеріана?

— Ахъ!

— Отъ угрызеній совѣсти у васъ сдѣлалась чахотка?

— Да! Къ счастію!.. Я скоро умру!.. «Меня положатъ въ холодную землю, но весна выраститъ цвѣты на моей могилѣ».

— Ваше единственное желаніе—дождаться Валеріана, чтобы получить отъ него прощеніе и умереть у него на рукахъ? Разумѣется! Онъ, конечно, ввалитъ къ вамъ аккуратъ въ сочельникъ къ двѣнадцати часамъ? Ну, еще бы! И вы сейчасъ же... того... куркенъ перекувыркенъ?..

— Это зависитъ отъ выбора автора, милостивый государь,—дѣловито возразила дѣвица.—Иногда я, наоборотъ, выздоравливаю и выхожу за Валеріана замужъ...

— А что — дѣти у васъ есть?—неожиданно полюбопытствовалъ Иванъ Ивановичъ.

Дѣвица поперхнулась.

— М-м-м-м...

— Воспитывайте ихъ тщательно, милостивая государыня вы моя! — строго и учительно сказалъ Иванъ Ивановичъ,—и паче всего блюдите, чтобы они не обременяли мозговъ своихъ святочными разсказами о своей родительницѣ... Честь имѣю кланяться! Если мы съ вами больше не встрѣтимся, — надѣюсь: къ обоюдному удовольствію! Прощайте-съ... Я уже вижу, я слышу, какъ «запыхавшись и съ широкою улыбкою на добродушно-честномъ лицѣ», спѣшитъ къ вамъ вашъ Валеріанъ... «Въ лѣвой рукѣ онъ имѣлъ великолѣпныя японскія ширмы, а на плечѣ его сидѣла и смотрѣла на Зину ласковыми, умными глазами очаровательная маленькая обезьянка изъ породы унистити»... Такъ! такъ!

И, дѣйствительно; на Ивана Ивановича почти набѣжалъ въ эту минуту дюжій морской офицеръ, съ ширмами въ рукахъ и обезьяною на плечѣ.

— Вы, — безъ сомнѣнія, господинъ Валеріанъ изъ Вандименовой земли?—сдержанно спросилъ его Иванъ Ивановичъ.

— Есть, капитанъ!—браво рявкнулъ морякъ.

— Послушайте: не устроитесь ли вы впередъ уплывать куда-нибудь еще подальше,—такъ, чтобы вамъ никакъ нельзя было поспѣть назадъ къ смерти вашей невѣсты?

— Да, вѣдь отъ этого не легче станетъ...—съ искренностью возразилъ морякъ.

— Все-таки, однимъ пошлымъ сюжетомъ меньше!

— Ничуть не бывало! Кто-нибудь сейчасъ же приспособится и напишетъ разсказъ: «Она умерла, не прощенная», «Не дождалась», «Одна навсегда», «Горемычная», или какъ-нибудь еще пронзительнѣе, — только и всего-съ... Ну ихъ! Еще, того гляди, и меня заставятъ застрѣлиться на могилѣ!

— Вы правы.

Морякъ говорилъ съ ожесточеніемъ.

— Вы думаете, мнѣ самому эти святочныя обязанности не осточертѣли? Съ Вандименовой земли — чеши по сту узловъ въ часъ, хорошо еще, если въ Одессу, а вдругъ въ Архангельскъ?! Дрянь всякую на себѣ таскай... обезьянъ какихъ-то... ширмы. . Я былъ бы радъ-радешенекъ, если-бы господа авторы меня позабыли и оставили спокойно винтить въ каютъ-компаніи...

— А уклониться отъ командировки нельзя? — съ сочувствіемъ задалъ вопросъ Иванъ Ивановичъ.

— Еще хуже!—грустно отвѣтилъ морякъ. Кто-нибудь непремѣнно поставитъ тебя на вахту въ рождественскую ночь, и ходи-вспоминай, значитъ, до ранняго утра «сестренку», родителей, невѣсту, пока «сѣдой валъ» не смоетъ тебя съ палубы... «Таня! была его послѣдняя мысль»...

— По крайней мѣрѣ, по службѣ-то выгодно-ли?—съ участіемъ освѣдомился Иванъ Ивановичъ.

Морякъ такъ и взвился.

— Помилуйте! Какія выгоды? Развѣ вы не видите, что я только лейтенантъ? Я плаваю больше, чѣмъ летучій голландецъ, я, по меньшей мѣрѣ, три контръ-адмиральскихъ ценза выплавалъ, а только лейтенантъ! Никакого производства! Сколько разъ уже подавалъ въ отставку, — не отпускаютъ: необходимъ морской лейтенантъ въ качествѣ святочнаго сюжета! Прескучная повинность! Еще покуда живъ былъ Константинъ Михайловичъ Станюковичъ,— куда ни шло... А теперь, когда его не стало, я послѣдняго смысла лишился и просто самъ себя начинаю презирать...

— Дочь моя! Эта звѣзда, сверкающая надъ нами, — звѣзда всепрощающей любви! Прости же меня, старика, какъ я тебя прощаю, и войди въ честный домъ мой! Пусть въ святую ночь эту начнется для насъ новая трудовая жизнь!..

Столь торжественныя слова звучали изъ устъ сѣдовласаго старца, который, растопыривъ руки поперекъ панели, благословлялъ ими рыдающую и колѣнопреклонную, но

весьма накрашенную особу. Иванъ Ивановичъ скрипнулъ зубами и направился прямо къ группѣ.

— Скажите, пожалуйста,—началъ онъ,—куда и зачѣмъ ведете вы эту закоснѣлую рецидивистику?

— Позвольте, милостивый государь!—окрысился было старецъ.

— Нѣтъ-съ, это вы позвольте!—перебилъ Иванъ Ивановичъ.—Я вамъ всю вашу біографію выложу, какъ на ладони. У васъ была дочь, она бѣжала съ любовникомъ, вы ее прокляли; затѣмъ у васъ умерла жена, три сестры, бабушка, троюродная тетка, котъ Васька и моська Бишка, вы остались одинъ на свѣтѣ; въ сочельникъ вы не вынесли своего одиночества, затосковали по дочери и вышли на улицу съ благодѣтельнымъ намѣреніемъ—сунуть сто рублей въ руку перваго погибшаго, но милаго созданья, которое вы встрѣтите...

Старикъ немедленно продекламировалъ козлинымъ дребезжащимъ голосомъ:

— Возьми эти деньги, бѣдное дитя, и проведи ночь одна въ добронравныхъ размышленіяхъ и благочестивыхъ надеждахъ!

— Вотъ-съ! Вотъ-съ!—съ страдальческимъ наслажденіемъ даже какимъ-то, закивалъ головою Иванъ Ивановичъ.—Именно этими словами!.. И, когда вы произнесли ихъ, погибшее созданіе возопило: «батюшка!» — и оказалось вашею пропавшею дочерью...

— Положимъ, что такъ, но—что же вамъ, собственно, угодно теперь отъ насъ? — вопросилъ озадаченный старикъ.

— Мнѣ угодно только указать вамъ, почтеннѣйшій, что—стыдитесь!!! Либо дома у васъ такой адъ кромѣшный, что въ немъ не въ состояніи ужиться болѣе сутокъ ни одна человѣческая душа, либо дочь ваша столь безпредѣльно неисправима, что спасать ее совершенно напрасная трата времени.

— Откуда вы заключаете? — величественно, но не безъ сомнѣнія въ себѣ, воскликнулъ сбитый съ толку старецъ, а дѣвица хихикнула и пропищала:

— Охальники!

— Оттуда, что я наблюдаю васъ уже сорокъ пять лѣтъ, какъ вы ловите ее аккуратно каждое 24 декабря, а затѣмъ, немедленно, она опять оказывается на улицѣ и, слѣдующаго 24 декабря, опять «бродитъ, голодная, подъ изморозью, и съ тихою грустью воспоминаетъ о невозвратныхъ дняхъ непорочнаго дѣтства».

— Охальники! — вторично пропищала особа, а старикъ буркнулъ себѣ подъ носъ:

— Марья! Пойдемъ: здѣсь насъ съ тобою не уважаютъ!

И оба скрылись въ переулкѣ.

— Городовой! — окликнулъ Иванъ Ивановичъ стоявшаго на углу блюстителя порядка. — Видите вы вонъ ту дѣвчонку, съ безумными глазами, которая крадется вдоль стѣны, прижимая къ груди какое-то тряпье и щепки?

— Такъ точно, ваше—ство.

— Задержите ее, пожалуйста. Это очень опасный и вредный сюжетъ: сумасшедшая Химка... Ея спеціальность — насмотрѣвшись на елку взрослыхъ, устраивать потомъ свою собственную изъ голика, вѣника или половой щетки и поджигать такимъ образомъ дома... У нея на совѣсти, по крайней мѣрѣ, двѣ дюжины святочныхъ поджоговъ! Оно бы еще ничего, но о ней, бестіи, разсказы сочиняютъ, и вотъ этого уже ни одна душа поэта не вынесетъ! Задержите ее всенепремѣнно. И обязательно доведите ее до самаго участка въ сохранности, отнюдь не отпускайте, растрогавшись по дорогѣ: о такихъ чувствительныхъ городовыхъ, освобождающихъ ради сочельника задержанныхъ преступниковъ тоже сочиняются святочныя небылицы въ лицахъ и, повѣрьте мнѣ, преглупыя... Ой!!!

— Виноватъ!

— Сдѣлайте одолженіе!

Господинъ, наступившій Ивану Ивановичу на ногу, имѣлъ на головѣ измятый цилиндръ, на лицѣ—блуждающіе глаза, а подъ мышкою футляръ со скрипкою.

— Вы бы себѣ подъ ноги смотрѣли, а по чужимъ ногамъ не ходили! — посовѣтовалъ Иванъ Ивановичъ, прыгая на мѣстѣ отъ боли.

— Виноватъ,—повторилъ незнакомецъ,—я смотрѣлъ на небо и внималъ музыкѣ сферъ. Она прекрасна, но я игралъ когда-то еще лучше.

— А!—воскликнулъ Иванъ Ивановичъ,—«старый забытый скрипачъ»! Васъ только недоставало.

— Я помню, — говорилъ скрипачъ, — эту великую ночь пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ... Эстрада... залитой огнями залъ... я, молодой, красивый... Какой успѣхъ! вѣнки! апплодисменты!.. Я былъ тогда придворнымъ солистомъ...

— Персидскаго шаха или турецкаго султана?—язвительно освѣдомился Иванъ Ивановичъ.

— Милостивый государь???!!!

Но Иванъ Ивановичъ стоялъ на своемъ:

— Ни при одномъ христіанскомъ дворѣ вы не могли давать концертовъ въ эту ночь. Это бываетъ только въ басурманскихъ земляхъ и въ святочныхъ разсказахъ...

— Не человѣкъ, а собака!—проворчалъ старый скрипачъ, ускоряя шагъ. А Иванъ Ивановичъ кричалъ ему вслѣдъ:

— Скатертью дорога! Не захватите ли вы кстати съ собою богатаго «стараго холостяка», который груститъ, что у него въ сочельникъ нѣтъ елки? крадется, какъ воръ, въ дѣтскую бѣдныхъ родственниковъ — взглянуть, какъ спятъ ангелочки? затаивъ дыханье, качаетъ надъ ними головою, твердя, что «и у меня могли бы быть такіе»? а потомъ, умиленный, пишетъ въ ихъ пользу завѣщаніе и

принимаетъ ядъ или пускаетъ себѣ пулю въ лобъ, не соображая даже того, дуракъ, что завѣщаніе, при подобныхъ условіяхъ, недѣйствительно!..

Подымаясь по довольно высокой лѣстницѣ въ свою квартиру, Иванъ Ивановичъ услыхалъ въ темнотѣ тихую возню и поспѣшилъ чиркнуть спичкою.

— А-а-а! — протянулъ онъ, увидавъ тощаго и съ весьма противною рожею старика, скрюченнаго въ три погибели, у облупленной и грязной двери.—Узнаю васъ, прекрасная маска!.. Вы—что называется — notre bourru bienfaisant, не правда ли? Вы тотъ, кого всѣ въ домѣ считаютъ нелюдимымъ скрягою, кровопійцею, ростовщикомъ, а вы, между тѣмъ, обладаете нѣжнѣйшимъ сердцемъ и подбрасываете по ночамъ къ дверямъ нуждающихся жильцовъ пачки бутылочныхъ ярлыковъ и погашенныхъ трамвайныхъ билетовъ?

— Какъ ярлыковъ? Какихъ трамвайныхъ билетовъ?— возопилъ старикъ, проворно подхвативъ съ пола какія-то бумажки.—Я кладу деньги, сударь мой!.. государственныя, кредитныя.

— Неправда! — протестовалъ Иванъ Ивановичъ. — Врете! Не только государственныхъ—даже фальшивыхъ не кладете... красноярскихъ и гуслицкихъ! Иначе — хоть кто нибудь и когда нибудь разбогатѣлъ бы отъ этихъ вашихъ... манипуляцій!.. Ничего подобнаго! Нищіе остаются нищими, а соръ соромъ... Самый вы фарисейскій сюжетъ!

Погрозивъ сконфуженному старику пальцемъ, Иванъ Ивановичъ прошелъ въ свою квартиру и тотчасъ же отправился на покой.

— По всей вѣроятности святочныхъ прецедентовъ,— размышлялъ онъ, снимая сапоги,—ночью въ мою спальню долженъ забраться воръ и даже, можетъ быть, убійца. Но револьвера можно, всетаки, не класть подъ подушку, ибо извѣстно, что воры и убійцы въ ночь сочельника только «заносятъ ножъ надъ горломъ беззащитной жер-

твы», а затѣмъ, дрожа, падаютъ въ раскаяніи къ ногамъ ея и просятъ связать ихъ и отправить въ тюрьму...

И Иванъ Ивановичъ заснулъ сномъ праведника. Но, едва заснулъ, узрѣлъ передъ собою нѣчто бѣлое, туманное, волнистое.

— Кто вы?—ужаснулся Иванъ Ивановичъ.

Бѣлое, туманное, волнистое откликнулось сиплымъ, загробнымъ басомъ.

— Привидѣніе... Развѣ ты забылъ, что нынѣ ночь привидѣній, а ты еще ни одного не видалъ?

— Резонъ, — вздохнулъ Иванъ Ивановичъ.—Но я думалъ, что, живя въ вѣкѣ позитивизма, мы хоть отъ этой-то благоглупости успѣли избавиться?!..

Привидѣніе мрачно покачало головою.

— Рокъ судилъ тебѣ пройти сегодня мытарства всѣхъ святочныхъ сюжетовъ.

— Въ такомъ случаѣ позвольте хоть познакомиться: съ кѣмъ имѣю честь?

— Я духъ твоей покойной тетки Мавры Никитишны, скончавшейся въ 1894 году отъ размноженія микробовъ въ слѣпой кишкѣ. Я послана открыть тебѣ давнюю фамильную тайну.

— Ну, конечно! Развѣ привидѣнія являются еще зачѣмъ-нибудь? Качайте вашу тайну, тетенька! внимаю!

Духъ пріосанился и изрекъ:

— Помнишь ли ты, какъ въ 1881 году, въ день твоего ангела, пропали у тебя голубыя съ цвѣточками подтяжки, подаренныя тебѣ въ тотъ же день твоею доброю матерью?

— Ну-съ?—изумился Иванъ Ивановичъ.

— Знай, что онѣ не были потеряны, но ихъ похитила горничная Настя для жениха своего Агафона, который жилъ у сосѣда офицера въ денщикахъ...

— Только всего?

— Чего жъ тебѣ еще? Провѣрь и сообщи Фламмаріону, какъ телепатическую новинку, для «Невѣдомаго»!

Но Иванъ Ивановичъ молча пошарилъ рукою около кровати и... молча же, швырнулъ въ тетку сапогомъ.

— Позвольте!—воскликнуло привидѣніе, утирая лицо саваномъ:—за это вы можете отвѣтить...

— Не шляйся по ночамъ! Коли умерла, знай свой предѣлъ: сиди на томъ свѣтѣ! Вотъ тебѣ «Невѣдомое»! Вотъ тебѣ Фламмаріонъ!

— Караулъ!

— Вонъ!

— Ну и молодежь нынче!..

— Вонъ!!!

— Я на васъ корреспонденцію въ «Московскія Вѣдомости»...

— Вонъ! Вонъ!! Вонъ!!! Михайло! Гони ее вонъ!

— Я здѣсь, сударь...—почтительно отозвался Михайло.

Иванъ Ивановичъ Ивановъ 1001-ый открылъ глаза: было утро. Михайло стоялъ передъ барскою кроватью на вытяжкѣ и подавалъ на подносѣ десять святочныхъ номеровъ десяти газетъ.

1903.

Термометрическое недоразумѣніе.

Въ одинъ зловѣщій октябрьскій день Алексѣй Сергѣевичъ Суворинъ сказалъ Н. А. Демчинскому:

— Собственно говоря, подите вы къ чорту! на что вы мнѣ нужны? Хвалились, что умѣете дѣлать погоду, — позвольте, — гдѣ же зима?! Если можете дѣлать погоду, то дѣлайте навѣрняка и хорошую, а разводить бобы о погодѣ я сумѣю и самъ,—притомъ, гораздо лучше, смѣлѣе, оригинальнѣе и дешевле.

Г. Демчинскій отказался дѣлать погоду навѣрняка и хорошую. Тогда Алексѣй Сергѣевичъ сказалъ г. Демчинскому по-нѣмецки:

— Швамдрюберъ!

И сдѣлалъ погоду самъ, простымъ и дешевымъ способомъ. А именно: призвалъ своего вѣрнаго слугу Василія и приказалъ ему перевернуть оконный термометръ вверхъ ногами. Тогда градусы, которые термометръ показывалъ ниже нуля, оказались выше нуля, что, какъ извѣстно, обозначаетъ тепло. Затѣмъ Алексѣй Сергѣевичъ написалъ «Маленькое письмо», въ которомъ объявилъ весну на ноябрь и декабрь, а невѣрующихъ приглашалъ справиться съ термометромъ. Вышло просто, какъ Колумбово яйцо, и, вѣроятно, столько же полезно.

Метеорологическія открытія Алексѣя Сергѣевича произвели фуроръ. Домъ его былъ осажденъ признательными читателями. Онъ не успѣвалъ принимать визитеровъ, и они лишь расписывались въ книгѣ у швейцара. Даже ночь не прерывала потока благодарности — человѣческой и сверхчеловѣческой, потому что, когда стихали шумы дня, дворецъ Алексѣя Сергѣевича удостоивался посѣщеній съ того свѣта, о чемъ свидѣтельствуютъ спиритическія записи въ той же визитной книгѣ.

Первымъ изъ знаменитыхъ покойниковъ посѣтилъ Алексѣя Сергѣевича камеръ-юнкеръ Пушкинъ, небезызвѣстный русскій стихотворецъ. Слѣдомъ его визита остался автографъ:

Кто на снѣгахъ возрастилъ Ѳеокритовы нѣжныя розы?!
Въ вѣкѣ желѣзномъ, скажи, кто золотой угадалъ?!..

Алексѣй Сергѣевичъ прочелъ съ радостью, хотя нашелъ, что знаковъ изумленія — ?! — въ концѣ стиховъ поэтъ могъ бы и не ставить.

Ниже красовалось двустишіе:

За ширмами сидѣлъ и щелкалъ соловьемъ
Пѣвецъ зимой погоды лѣтней.

Подписалъ: россійскій посланникъ въ Тегеранѣ, Александръ Грибоѣдовъ, членъ общества драматическихъ писателей, безъ права голоса. Этотъ автографъ понравился Алексѣю Сергѣевичу менѣе и, въ наказаніе Грибоѣдову, онъ велѣлъ поставить «Горе отъ ума» на Маломъ театрѣ въ воскресенье утромъ, съ г. Глаголинымъ въ роли Чацкаго.

Я. П. Полонскій взобрался на костыляхъ своихъ, по привычной лѣстницѣ, въ суворинскій бельэтажъ и оставилъ визитную карточку, съ четырьмя стихами:

Такъ тепло вы написали,
Что въ декабрьскіе морозы
Босикомъ мы выбѣгали,
Посмотрѣть, цвѣтутъ ли розы.

— У старика на томъ свѣтѣ испортился характеръ!— сказалъ Алексѣй Сергѣевичъ. Сталъ брюзжать.

С. В. Максимовъ совѣтовалъ коротко:

— До Святого Духа не снимай кожуха!

А В. И. Даль написалъ двусмысленно:

— Убери пень въ вешній день, и пень будетъ пригожъ!

Алексѣй Сергѣевичъ прищурился лукаво и подумалъ:

— И безъ тебя знаю! Но объ этомъ, ангелъ мой, умные люди вслухъ не разговариваютъ...

На слѣдующую запись Алексѣй Сергѣевичъ взглянулъ съ неудовольствіемъ.

— Этотъ съ какой стати? И чего тутъ онъ еще наворотилъ?!—проворчалъ онъ, скользнувъ взоромъ по строкамъ.

«И началъ онъ каждый день читателя истиной донимать. Нѣтъ дифтерита, да и шабашъ! И кутузокъ нѣтъ, и пожаровъ нѣтъ; если же и выгорѣлъ Конотопъ, такъ послѣ пожара онъ еще лучше выстроился. А урожай, благодаря наступившимъ теплымъ дождямъ, оказался такой, что и сами ѣли-ѣли, да, наконецъ, и нѣмцамъ стали подъ столъ бросать: подавись!»

Дальше Алексѣй Сергѣевичъ не захотѣлъ и читать:

— Грубіянъ вы были, Михаилъ Евграфовичъ, — сказалъ онъ,—грубіяномъ и остались!

Послѣдній автографъ былъ длиннѣе и носилъ заглавіе:

МЭТРЪ, ТЕРМОМЕТРЪ И ПРОХОЖІЙ.

Басня.

Мэтръ. Прохожій!
Прохожій. Ну?
Мэтръ. Ты любишь ли весну?
Передъ тобой пѣвецъ зимой погоды вешней!
Прохожій (кутая носъ въ шубу).
Простите, я не здѣшній!

Надежды—даръ небесъ. А все-жъ, любезный мэтръ.
Переверни-ка вновь въ окошкѣ термометръ!

Подписался: «Твой доброжелатель
Козьма Прутковъ».

Алексѣй Сергѣевичъ устремилъ задумчивый взоръ на градусникъ. Перекувырнутый Василіемъ, онъ показывалъ синимъ спиртомъ 20 градусовъ + выше нуля... На оконныхъ стеклахъ играли красные отблески — отъ костра на углу, разведеннаго для извозчиковъ. Извозчики грѣлись, хлопали рукавица о рукавицу и говорили:

— Однако, и морозитъ!!!

1903.

Я вновь предъ тобою!

Романсъ въ одномъ дѣйствіи.

Лица:

Петербургъ, Знатная особа обоего пола, изъ совершенно русскихъ нѣмцевъ.

Я.

Сцена представляетъ покой въ столь смѣшанномъ стилѣ, что самъ Станиславскій не разберетъ: нѣчто среднее между уборною балерины и кордегардіей. Петербургъ сидитъ у канцелярскаго стола, на которомъ, впрочемъ, вмѣсто грозныхъ аттрибутовъ столичной неукоснительности, красуется лишь весьма кокетливое зеркало, въ рѣзной рамѣ коего рѣзвятся зефиры и амуры. Одѣтъ Петербургъ очень странно: штановъ на немъ, по обыкновенію, нѣтъ; на правой ногѣ ботфорты со шпорой, на лѣвой башмачекъ Тальони изъ коллекціи покойнаго Базилевскаго; форменный вицмундиръ съ пуговицами всѣхъ вѣдомствъ наброшенъ прямо на розовое трико атлета-чемпіона, а по трико, черезъ всю грудь, тянется цѣпочка съ орденами—преимущественно иностраннаго происхожденія: отъ республики Гаити и прочихъ великихъ державъ, въ перемежку съ жетонами за успѣшную автомобильную ѣзду. Послѣднихъ ужасно много. На спинѣ вицмундира предусмотрительнымъ

портнымъ простегано, на всякій случай, ромбовидное пространство для нашитія, по мѣрѣ надобности, бубноваго туза. Ниже виситъ нѣчто, чему хитрый Петербургъ старается придать видъ камергерскаго ключа, но, въ дѣйствительности, это только печать судебнаго пристава. Одинъ усъ, лихо закрученный и огонгруаженный, стрѣлою торчитъ кверху; другой усъ остался, въ качествѣ вещественнаго доказательства, при полицейскомъ протоколѣ о франкорусскомъ избіеніи стерлитамакской мѣщанки, дѣвицы Акулины Карловны Этуаль, при исполненіи ею служебныхъ обязанностей въ кабинетѣ увеселительнаго заведенія «Плюнь да свистни». Въ глазахъ у Петербурга прыгаютъ вчерашніе не столь, впрочемъ, мальчики, сколь дѣвочки: въ одномъ—Настя Вяльцева, въ другомъ—Лина Кавальери. Вмѣсто ушей, двѣ телефонныя трубки. Голосъ зычный, но сиплый и какъ бы придушенный, напоминаетъ звукъ граммофона-гигантъ. Предъ Петербургомъ, за тѣмъ же столомъ, нѣсколько испитыхъ и очень давно не получавшихъ жалованья барышенъ неистово стучатъ на ремингтонахъ.

Петербургъ *(первой барышнѣ)*. Пишите: «При современномъ всеобщемъ подъемѣ патріотическаго энтузіазма»... (*Второй барышнѣ*). Пишите: «По сему моему векселю повиненъ я»... (*Третьей барышнѣ*). Пишите: «О таковомъ зловредномъ образѣ мыслей и злокачественномъ поведеніи гласнаго изъ квартиронанимателей, г. Повѣсь-Носъ, имѣю честь почтительнѣйше донести на благоусмотрѣніе вашего превосходительства»... (*Четвертой барышнѣ*). Пишите:

Весна идетъ! весна идетъ!
Мы молодой весны гонцы,
Она насъ выслала впередъ!

(*Пятой барышнѣ*). Пишите: «Что японецъ — морской подлецъ, это всякому дураку извѣстно, но сверхъ того онъ, скотина, еще и жидъ,—пархатый жидъ! и съѣлъ

свиное ухо!» (*Шестой барышнѣ*). Пишите: «Будучи отягощенъ многочисленнымъ семействомъ, осмѣливаюсь предложить вашему сіятельству слабыя силы и долговременный опытъ мой,—сердцемъ рвусь послужить вѣрою и правдою нашему чудо-богатырю, русскому солдатику, преимущественно по фланели, при вольныхъ цѣнахъ на каковую и приличныхъ званію и чину моему подъемныхъ, согласенъ довольствоваться даже ограниченнымъ окладомъ»... (*Седьмой барышнѣ*). Пишите: «Зюзюшка! Это подло! Браслетъ содрала въ три тысячи, а назначенія до сего времени нѣтъ. Мнѣ совсѣмъ неинтересно попасть къ шапочному разбору, чтобы кости глодать! Скажи своему vieux cochon»... (*Стучатъ*). Фу-у-у! Кто тамъ еще? А, впрочемъ, слава Богу, даже радъ, что помѣшали, а то уже мозги переболтались, въ душѣ яичница, и голова кругомъ пошла... (*Стучатъ*). Entrez! Войдите!

Я (*ступаю робко и на цыпочкахъ*). «Вхожу съ смущеніемъ въ забытыя палаты»... Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его... Честь имѣю явиться...

Петербургъ (*благосклонно*). А-а-а! Вотъ ужъ именно, какъ говоритъ нашъ добрый народъ: русскаго духа ухомъ не слыхать, глазомъ не видать, а русскій духъ смертью пахнетъ!.. Такъ ли я говорю?

Я. Вашество! Вы говорите по-русски, какъ академикъ!

Петербургъ. Вы слишкомъ любезны. Но что же вы стоите? Садитесь, пожалуйста!

Я (*скромно*). Благодарю васъ. Уже сидѣлъ.

Петербургъ (*напѣваетъ на голосъ*: «*Connaissez vous l'histoire d'un vieux curé de paks*»):

Весна идетъ, весна идетъ!
Мы молодой весны гонцы,
Она насъ выслала впередъ...

Какъ вы меня находите? Перемѣнился?

Я. Стали херувимы. Настоящій бельомъ.

*

Петербургъ. О-о-о! Regardez un peu ce coquin-là: онъ у себя... тамъ, па дальнемъ сѣверѣ... сдѣлался льстецомъ! Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ? Но только искренно! Искренно!

Я (*прикладываю руку къ сердцу*). Вашество! Да если взять теперь одинъ домъ Елисѣева на Невскомъ... Хрустальныя окна: вагонъ пройдетъ!.. Вашество! Да—въ какихъ же Европахъ ширше?! Сказано — прогрессъ! разумѣйте, языцы, и покоряйтеся, яко съ нами Богъ!

Петербургъ (*тронутый*). Да-да-да... Хрустальныя окна—хрустальныя души!.. Ахъ, cher! Хрустальныя души теперь только у меня, старика, и остались!.. Какой энтузіазмъ! какой энтузіазмъ! Читаете газеты?

Я (*съ чувствомъ нѣкоторой обиды*). Вашество! Или вы меня за нехристя почитаете?!

Петербургъ. Извините!

Я (*съ азартомъ*). Какъ же теперь человѣку грамотному газетъ не читать? Въ нихъ полезное можно вычитать! Напримѣръ, ежели у васъ бумаги очень à la baisse, сейчасъ это—читаете вы въ газетѣ: потоплено столько-то японскихъ броненосцевъ!—и дѣло ваше въ шляпѣ: идете на биржу и продаете бумаги уже à la hausse.

Петербургъ (*съ задумчивою грустью*). Къ сожалѣнію, подобныя извѣстія рѣдко оправдываются, а подобныя операціи... (*инстинктивно почесываетъ о спинку стула ромбовидное пространство на спинѣ вицмундира*).

Я (*съ воодушевленіемъ*). Вашество! Чѣмъ русскій человѣкъ не пожертвуетъ и не рискнетъ изъ патріотизма?

Петербургъ. Да, вы правы... Энтузіазмъ! энтузіазмъ!.. Знаете, когда эти тамъ... съ флагами, поютъ гимнъ... «Спаси, Господи»... знаете, трогательно! возвышаетъ душу! Даже меня, хотя и нѣмецъ, прошибла русская слеза!.. (*въ экстазѣ*). А, впрочемъ, почему я нѣмецъ? какой я нѣмецъ? Это все старуха Москва на меня клевещетъ, по зависти, что склонилась... помните, у Алексѣя Пушкина? «Москва

склонилась, какъ вдова»... Delicieux!.. Но, что бы ни врала старуха, а я русскій, mein lieber Freund, русскій самаго лютеранскаго происхожденія!.. И моя подоплека (*съ удовольствіемъ повторяетъ*), мо-я по-до-пле-ка кипитъ, кипитъ, кипитъ, когда я слышу... Умремъ, кричатъ, умремъ!.. За конной полиціей пришлось посылать—иначе было не разогнать! Ей-Богу!

Я (*патріотически*). Если бы конная полиція не пришла, такъ бы всѣ и умерли!

Петербургъ (*отвлеченный какими-то своими соображеніями*). Читали вы про этого... купца... тамъ, тамъ, въ Иркутскѣ?

Я. Крупное пожертвованіе?

Петербургъ. Пожертвованіе? Нѣтъ... Знаете, пожертвованія—это прекрасно, это нужно, это благородно, но это уже вошло въ колею, объ этомъ не говорятъ... Притомъ, Орловъ-Давыдовъ побилъ такой рекордъ... (*Пожимаетъ плечами съ видомъ, не то чрезвычайно уважительнымъ, не то не слишкомъ довольнымъ*).

Я (*съ дипломатическою выжидательностью*). Да, милліонъ—сумма значительная!

Петербургъ (*прорвался, — «не вынесла душа поэта!»*) Знаете, cher! Я буду говорить съ откровенностью: я патріотъ, — вы слышали, но... это чрезмѣрно! увѣряю васъ: чрезмѣрно! И даже безтактно! Онъ подвелъ...

Я Кого, вашество?

Петербургъ. Ну, конечно, не насъ съ вами, но капиталистовъ подвелъ! богатую аристократію!.. Помилуйте! развѣ одинъ Орловъ-Давыдовъ патріотъ? Всѣ патріоты! И всѣ пожертвовали бы... ну, тамъ—тысячъ пять, десять, даже двадцать пять... А Орловъ-Давыдовъ вдругъ выскакиваетъ со своимъ милліономъ! Это пугаетъ, бьетъ по нервамъ, даетъ вызывающій тонъ... Неловко же пожертвовать меньше Орлова-Давыдова! Noblesse oblige, хорошій

тонъ требуетъ, чтобы дать столько же, сколько Орловъ-Давыдовъ, или не давать ничего...

Я. Ну,—и?!

Петербургъ (*протяжно*). Не даютъ ни-че-го... Cher! Cher!.. Отечество—прекрасная вещь, но—развѣ у насъ изъ земли растутъ милліоны? Гдѣ они? Я прошу васъ, укажите мнѣ! Я въ своемъ бюджетѣ ищу: гдѣ они? Укажите! У насъ рѣпа растетъ! у насъ растетъ долгъ дворянскому банку! у насъ растетъ травка-дефицитъ, но не милліоны! не милліоны! А пропо де бюджетъ: въ новой думѣ у меня не были?

Я. Не удостоился.

Петербургъ. Ахъ, побывайте! непремѣнно побывайте! Превесело! Вообразите: публика на хорахъ—сплошь балерины... цѣлый цвѣтникъ.

Я. Ахъ, милыя!

Петербургъ. Да! Вотъ и шутите послѣ этого съ женскимъ вопросомъ! Я за эмансипацію, cher! Вы считаете меня отсталымъ бюрократомъ, чиновничьей душой, но я за эмансипацію! Я всегда говорилъ: messieurs! общественная сила будущаго въ пуантахъ и стальномъ носкѣ! А Костя Скальковскій имѣлъ дерзость увѣрять меня, будто у русскихъ танцовщицъ носки мармеладные. Farceur! Нѣтъ, онѣ... того...

Я. Зато Николай Михайловичъ Безобразовъ...

Петербургъ. Да, онъ всегда стоялъ за самобытность отечественной ноги!.. И, знаете, онѣ, эти балерины, оказываются съ большимъ пониманіемъ и критическимъ тактомъ. Апплодируютъ, шикаютъ, ножками стучатъ... прегромко!

Я. Да, если со стальнымъ носкомъ, должно быть, громко!

Петербургъ. И гласнымъ весело: то балерины имъ со сцены улыбки посылали, а теперь реваншъ: они—изъ зала на хоры—балеринамъ... Этакій alliance cordiale между общественными представителями и публикою! Дружно дѣло

спорится! Представьте: Кони заставили замолчать! Excusez du peu!

Я. Вашество! Можетъ быть, тутъ не безъ интриги и зависти?

Петербургъ. Hein?!

Я. Безмолвныя пятки взревновали къ краснорѣчивому языку и умной головѣ?

Петербургъ (*грозитъ пальцемъ*). Но-но-но!.. О семъ, мой другъ, наименьше!.. «Языкъ и пятки»... Скажете тоже! Словно изъ Козьмы Пруткова!

Я. Или изъ каталога художественной выставки въ Пассажѣ... Тамъ все такія названія картинъ: «Мѣшокъ и шляпа», «Каска и овощи»—«Пухъ и перья», Daunen und Feder».

Петербургъ (*все еще нѣсколько «будируя»*). «Языкъ и пятки»!.. А вы знаете, какая разница между языкомъ и пятками?

Я. Предположите, вашество, что не знаю.

Петербургъ. А та разница, что пятки могутъ оттоптать языкъ, а языкъ оттоптать пятокъ не можетъ... Совѣтую не забывать... Такъ о выставкахъ... Вы видѣли?

Я (*не безъ отчаянія*). Видѣлъ! Вашество! За что вы намъ столько выставокъ открыли?

Петербургъ. Нельзя же, mon cher, теперь война... le monde s'ennuie... Исключительно по случаю японскихъ осложненій!

Я. Такъ вы бы ихъ, вашество, въ Портъ-Артурѣ устроили! Тогда японцы его и осаждать бы не стали.

Петербургъ. Вы думаете? Это идея! Въ самомъ дѣлѣ, я уже не одинъ разъ замѣчалъ, что стоитъ гдѣ нибудь устроить художественную выставку, чтобы люди туда перестали и заглядывать... Но Портъ-Артуръ возвращаетъ меня къ темѣ объ иркутскомъ купцѣ, отъ которой вы меня отвлекли: представьте, онъ узналъ, что пришла телеграмма, чтобы вагоны воинскихъ поѣздовъ обивать войлокомъ и

скупилъ весь войлокъ въ городѣ, а потомъ продалъ его казнѣ по 70 коп. за аршинъ и нажилъ въ одинъ день 200.000 рублей.

Я. Какой мо...

Петербургъ (*прерывая, договариваетъ*)... лодчина! Я самъ нахожу: удивительный мастеръ приспособляться къ обстоятельствамъ нашъ добрый, русскій, простой душа-человѣкъ... И еще г. Меньшиковъ толкуетъ, что жиды... Нѣтъ-съ, я, какъ патріотъ, не уступлю противъ жида нашей правословной русской сметки: гдѣ можно казну облупить, тамъ хорошій русскій умъ за сто жидовъ отвѣтитъ-съ! (*Мечтательно*). Вотъ тоже хорошо теперь лошадей для японской кавалеріи поставлять... говорятъ, отлично платятъ!

Я (*любознательно*). А не повѣсятъ за это?

Петербургъ (*въ гамлетовскомъ раздумьи*). Вы думаете: могутъ?

Я. Отчего же нѣтъ? Висѣть можетъ все, что въ состояніи быть прицѣпленнымъ на веревку.

Петербургъ. Barbares! Вотъ они, ужасы войны, мой милый! Ахъ, я всегда говорилъ, что война — самая печальная вещь на свѣтѣ... И какой курсъ! Какъ падаютъ бумаги! Каждая пробоина въ обшивкѣ корабля—это пробоина въ моемъ карманѣ. Вотъ гдѣ наша язва! Вотъ что требуетъ обличенія! Поѣзжайте на войну, другъ мой! Опишите намъ, разоблачите ея ужасы и тайны! Знаете, что нибудь вродѣ «Войны и Миръ» Лермонтова!

Я (*со смиреніемъ*). Ну, что я? Могу ли я моимъ слабымъ перомъ... и такъ далѣе, и такъ далѣе? Туда теперь больше дама ѣдетъ!

Петербургъ. Ахъ, да! правда! Про это даже стихи сочинены! Я читалъ!

Подъ градъ японскихъ пуль и бомбъ
Стремится Клавдія Дестомбъ,
Разить японскія карре
Спѣшитъ Марія Пуаре.

Увидятъ грозный край приморскій
И Радошевская съ Яворской,
А Таня Щепкина-фигурка
Теперь,—увы!—ужъ портъ-артурка...

Я. Стихи, вашество, скверные, но прочитаны еще хуже.

Петербургъ. Вотъ тебѣ, дѣдушка, и Ольгинъ день!—какъ сказалъ Алексѣй Николаевичъ Бѣжецкій Алексѣю Сергѣевичу Суворину. Между тѣмъ, я учился декламаціи у Юрьева—потому что меня едва-едва не выбрали гласнымъ въ мою собственную думу.

Я. Зачѣмъ же дѣло стало, вашество?

Петербургъ (*мрачно*). Либералишки съѣли. Не въ тотъ участокъ попалъ. Я вѣдь больше по черной сотнѣ... (*Поетъ*).

Черный цвѣтъ, мрачный цвѣтъ!
Ты мнѣ милъ завсегда!

Я. Вы перечислили почти всѣхъ петербургскихъ драматическихъ дамъ, поступающихъ въ кадры писательницъ-амазонокъ. А Елисавета Александровна Шабельская?

Петербуръ (*холодно и почему-то по-французски*). Эль рестъ.

Я (*не упорствуя въ вопросѣ*). Николай Ивановичъ Кравченко, я слышалъ, тоже уѣхалъ?

Петербургъ. Да, но, все-таки, на положеніи мужчины. Знаете, вродѣ дьякона, прикомандированнаго къ женскому монастырю.

Я. Дай ему Богъ хоть и въ протодьяконы! Мужчина рослый.

Петербургъ (*разсѣянно*). Да ѣдутъ... ѣдутъ... ѣдутъ... (*Отрывисто и, видимо, отвлеченный мечтами къ совершенно посторонней мысли*). Какъ вы думаете? Ста тысячъ подъемныхъ довольно?

Я. Что-о-о?

Петербургъ. И если тысячъ по пяти жалованья въ мѣсяцъ? Дадутъ?

Я. Вашество!.

Петербургъ. Ну, дорожные расходы, прогоны лошадей на десять на всѣ четырнадцать тысячъ верстъ...

Я. Вашество! Что съ вами?

Петербургъ (*опамятовался*). Ахъ, это вы... Извините! Благотворительностью собираюсь заняться, помощью больнымъ и раненымъ... ну, и понимаете: мысли! мысли! буря мыслей! (*благочестиво*) Все на пользу отечества мысли... (*пытливо заглядывая мнѣ въ глаза́*). Ну, —вы слышали: вѣдь скромно? а? какъ вы думаете? можно разсчитывать? можно?

Я. Вашество! разсчитывать-то можно... Великъ Богъ земли русской: на что подъ нимъ разсчитывать нельзя?!— Но не боитесь ли вы, что, при столь умѣренныхъ благотворительныхъ ассигновкахъ, должно въ скорости произойти нѣкоторое изсякновеніе благотворительныхъ суммъ?

Петербургъ (*убѣдительно и дружески поймалъ меня за пуговицу*). Cher! А пожертвованія-то?! (*Съ жаромъ жметъ руку*). Жертвуйте, голубчикъ! уговаривайте! И, знаете, вотъ вамъ добрый совѣтъ мой: непремѣнно убѣждайте всѣхъ жертвовать ровно вдвое больше того, что они дать собирались...

Я. Почему же, вашество?

Петербургъ А потому, что половину... (*страшно кашляетъ*).

Я. Вашество! Вашество!

Петербургъ (*слабо*). Бываютъ слова, которыя для горла хуже всякой мокроты... (*Оправившись и очень гордо*). Я хочу только сказать, что, пожертвовавъ вдвое болѣе, чѣмъ хотѣли, вы можете быть совершенно увѣрены, что половина вашего взноса непремѣнно дойдетъ до русскаго солдатика и, слѣдовательно, тогда вы поможете ему какъ разъ въ томъ размѣрѣ, какъ собирались. (*Съ сантиментальнымъ свѣтомъ въ глазахъ*). Прошлую войну помните?

Я. Не лишенъ воспоминаній...

Петербургъ (*съ волчьимъ аппетитомъ*). Какіе тогда куски! Какіе летѣли куски! Вотъ куски!

Я. Юнъ былъ, не знаю. Но въ книгѣ живота, рекомой исторія, записано,—читывалъ!

Петербургъ (*наи-архи-презрительно*). Въ книгѣ живота! Въ книгѣ живота! Нашли, чѣмъ пугать! Всякая книга живота, батенька, по востребованію, можетъ быть превращена въ книгу скончанія... ничего нѣтъ легче-съ!.. Книга живота!... Говорю вамъ: такіе куски летѣли, что за нихъ не жаль не токмо въ книгу живота, а... Да-съ! Вотъ это была благотворительность! И адвокаты-то пятиэтажные дома повыстроили, — тѣ, которые потомъ благотворителей на процессахъ защищали, а ужъ сами!.. ужъ сами!.. (*Даже ослабъ отъ вожделѣнія и глаза прикрылъ*). Какъ ваше мнѣніе... исторія иногда повторяется? возможно будетъ... и... теперь? Хоть не въ полной мѣрѣ... хоть... тѣнеобразно? А?

Я. Сказываютъ, будто «по вѣрѣ вашей и дастся вамъ».

Петербургъ. Вѣры-то въ себя много, и охоты хоть отбавляй, да вотъ контроль!.. контроль анаѳемскій!.. Господи! И зачѣмъ Тебѣ этотъ контроль? И безъ того всякой дряни много на свѣтѣ, а Ты еще контроль сотворилъ! Я спрашиваю васъ: ну, есть ли здравый смыслъ подчинять людей контролю тамъ, гдѣ кипитъ патріотическое чувство? Развѣ сухой контроль въ силахъ понять нашу широкую патріотическую натуру, сколько она... можетъ?! Оскорбительное недовѣріе и параличъ личной иниціативы, — больше ничего!!! Когда Мининъ спасалъ отечество отъ поляковъ, онъ—единственно, чего потребовалъ: messieurs les избиратели! чтобы—безъ контроля! Je vous demande un peu: чѣмъ бы мы были теперь, если бы къ Минину былъ приставленъ контроль? Мы торговали бы въ Варшавѣ швейными машинами и оксидированными часами,— voici notre futur historique, tout entier! Cher! Мининъ—вотъ

кого я понимаю! Намъ нуженъ Мининъ! Мининъ! Безотчетный Мининъ! Мининъ и Мещерскій!..

Я. Пожарскій, вашество!

Петербургъ (*съ досадою*). Не говорите глупостей! Пожарскія бываютъ теперь только котлеты, а я имѣю въ виду совсѣмъ другое кушанье! (*декламируетъ*) Мининъ-Мещерскій — и никакого контроля! Да еще — всѣхъ бы этихъ щелкоперовъ, писакъ, бумагомаракъ... (*Видя, что я, совершенно испуганный, собираюсь расточиться въ воздухъ, яко врази его*). Не исчезайте! Я кончилъ... Dixi et animam laevavi! Voilà tout! (*Внезапно потерявъ апломбъ, съ почти слезливою пугливостью*). Cher! А какъ вы думаете: не опоздалъ я? Еще пристроятъ? Зачислятъ?

Я. Развѣ такъ много кандидатовъ?

Петербургъ (*съ отчаяніемъ*). Легіонъ! Толпы! Тучи!

Я. Позвольте: да, можетъ быть, это сестры и братья милосердія?

Петербургъ. Ну, вотъ! Не знаю я? За кого вы меня принимаете? Что же я, по вашему, уже Козьмы и Даміана безсребренниковъ отъ Ротштейна не отличу? Какіе тамъ сестры и братья?! Эту публику совсѣмъ въ другомъ мѣстѣ записываютъ. Дѣловикъ валитъ, дѣловикъ...

Я. Большая конкурренція?

Петербургъ. Въ канцеляріи стоятъ, въ корридорахъ стоятъ, на лѣстницѣ стоятъ, въ раздѣвальной стоятъ, на площади стоятъ.,. И у всѣхъ прошенія-съ! А въ прошеніяхъ—подъемныя и окладъ-съ! Окладъ и подъемныя-съ! (*Съ яростью*). Движеніе на улицѣ замедляютъ! такой патріотизмъ... Вотъ бы куда конную полицію-то! Не понимаю, чего начальство зѣваетъ! (*Вынимаетъ изъ кармана думскіе часы и смотритъ съ ужасомъ*). Батюшки! Сейчасъ тамъ пріемъ... Надо спѣшить, бѣжать...

Я. Да вы не волнуйтесь: они впередъ бѣгутъ.

Онъ. Нѣтъ, нѣтъ, не говорите. Иногда и вѣрно ходятъ.

Я (*видя, что человѣкъ въ трехъ волненіяхъ и ему не до меня*). Не смѣя долѣе утруждать вашества...

Петербургъ *(съ нетерпѣніемъ)*. Всего хорошаго, всего хорошаго... (*Схватился за голову*). А машинки-то мои молчатъ, а письма-то мои не достуканы... (*Я въ пустыню удаляюсь, оставляя Петербургъ въ совершеннѣйшей прострацiи. Послѣднія слова, которыя я, уходя, слышу*):

— По сему моему векселю повиненъ я... При достаточныхъ подъемныхъ согласенъ довольствоваться даже скуднымъ содержаніемъ...

1904.
Февраль.

ВЪ ТЕМНОРОССІИ.

„Прощаюсь, ангелъ мой, съ тобою!"

Поѣздъ мчится снѣгурочкиными мѣстами—тою самою тихою, великорусскою полосою ростовскихъ звоновъ и ярославцевъ-красавцевъ, гдѣ народныя легенды помѣщаютъ старинное царство веселыхъ берендѣевъ. Теперь оно затопло болотами, которыя до сихъ поръ слывутъ берендѣевскими. Есть и село Берендѣевка,—можетъ быть, та самая слободка, гдѣ нѣкогда пріютили бобыль Бакула съ бобылихою Бакулихою холодную дѣвушку Снѣгурочку, порожденье Весны и Мороза, и близь которой спалили ее потомъ, въ буйный ярилинъ день, лучи страстной любви, кровавое пламя Ярила-Солнца.

До Ярилы далеко. Стоитъ снѣгурочкина весна: нѣжная, блѣдная, робкая, трепещущая желтозеленымъ пухомъ на деревьяхъ, подъ зеленоватымъ, дѣвственнымъ небомъ. Духъ Снѣгурочки жидкими туманцами тянется отъ перелѣска къ перелѣску... Свѣжо, скромно, грустно и—русско! Какъ-то—до жалости русско!..

Мнѣ хочется думать о Снѣгурочкѣ, о робкой зеленой веснѣ и о придавленной смиреніемъ даже въ природѣ своей родной землѣ, которую, благословляя, исходилъ въ рабскомъ видѣ, удрученный крестною ношею, самъ Христосъ, Царь Небесный. А сердитые, раздраженно поднятые голоса

моихъ сосѣдей требуютъ, чтобы я думалъ о нихъ и о той жизни, которая назойливо и мучительно бьется въ ихъ звукѣ.

— Не передохнуть!

— Ежели такъ, скажемъ, до флаговъ, — животы растеряемъ!

Слышу это я отъ самой Москвы. Люди почтенные, сѣдобородые, хорошей купеческой складки, пиджаки на нихъ темносиніе, богатаго аглицкаго сукна, золотыя цѣпи при часахъ старинныя, тяжеловѣсныя. Какъ сѣли въ вагонъ,— все шепчутся, съ тревогой въ ястребиныхъ великорусскихъ глазахъ. Шепчутся и вздыхаютъ. А, пошептавшись и повздыхавъ, прорываетъ ихъ:

— Не передохнуть!

— Животы растеряемъ!

На крохотной станціи видитъ меня въ окно и весело кланяется баринокъ въ одеждахъ не брачныхъ. Узнаю стараго университетскаго пріятеля, выбѣгаю на тормазъ:

— Ты какъ сюда?

— Мѣста лишившись, у брата на хлѣбахъ гощу: у начальника станціи.

— Вотъ! Кажется, ты у своего нѣмца былъ такъ плотно привинченъ?

— Да—что же? Чуть оба не плакали, какъ разставались. А—ничего не подѣлаешь... На двѣ трети служащихъ контору сократилъ. Иначе—не передохнуть. Тоже, братъ, и нѣмца понимать надо...

— Какъ нѣмца не понимать?!

— Въ волонтеры на войну, что ли, пойти — а? Да, слышно, не берутъ...

— Не берутъ.

Пріятель мнется, кривитъ ртомъ.

— Скверно... Брату тоже трудно... семейный... На шеѣ-то сидѣть—того...

Фю-ю-ю! Поѣхали! Машу шляпою и послѣднія — напряженнымъ голосомъ—слова вдогонку слышу:

— Ежели долго... не передохнуть!

А купцы мои вздыхаютъ и шепчутся. И—среди зеленой снѣгурочкиной весны — я вспоминаю, подъ грохотъ поѣзда, о только что оставленной Москвѣ и мнѣ кажется, что это она, старая и думная, ѣдетъ рядомъ со мною и вздыхаетъ, и шепчется. И теперь я знаю, о чемъ ея вздохи и шопотъ, потому что вспоминаются мнѣ Смоленскій рынокъ, Проточные переулки, Прудовыя улицы, а по нимъ—бродячіе люди въ грязныхъ ситцевыхъ рубахахъ. И лица ихъ угрюмы, и взоры ихъ враждебны, и ноги ихъ въ опоркахъ. И останавливаютъ они прохожихъ:

— Господинъ, нѣтъ ли какой работишки?

— Откуда, милый? Проѣзжій я.

— Тогда... на ночлегъ и шти... прошу милости!

Ихъ—десятки просятъ, сотни смотрятъ, тысячи слоняются.

— Да—что это? Когда въ Москвѣ такое бывало? Откуда васъ—словно саранчи?

— Война... фабрики въ застоѣ...

— Сокращаютъ насъ... Стало наше множество хозяевамъ не въ подъемъ...

— Разсчитываютъ. Гуляй вольными казаками!

— Конечно, что и съ хозяевъ взять? Ихнее дѣло очень теперь тугое. Только ужъ намъ-то... не передохнуть!

— Не передохнемъ, такъ передохнемъ...

— Господинъ! По случаю кувырколлегіи въ боку у японскаго броненосца,—разрѣшитесь отъ бремени на двадцатку!

— Возьми, опохмѣлись...

— Молодчага проѣзжій! Проходи: шляпа твоя, значитъ, цѣла осталась!

На Верхне-Прудовой улицѣ ищу знакомаго. Стоитъ

человѣкъ, въ жилеткѣ на рубаху, вертитъ что-то пальцами. Принялъ его за дворника.

— Не знаешь, гдѣ домъ Лягушева?

— Ась?

Смотрятъ въ упоръ безсмысленные, оловянные глаза,— и такой въ нихъ испугъ и горе, что невольно срывается съ губъ вопросъ:

— Богъ съ тобою... чего ты?!

Глаза устремляются въ сторону. Изъ густой заросли бѣлобрысыхъ усовъ и бороды, страдальческимъ конфузомъ звучитъ пещерный какой-то басъ:

— Мѣста лишёмшись...

— Гмъ... Многіе нынѣ безъ мѣстъ...—только и нахожу я утѣшенія на встрѣчу этому застылому, пришибленному горю. Горе спокойно соглашается:

— Дѣйствительно, что многіе,—только у меня жена и трое ребятъ... дѣвчоночка махонькая, семой мѣсяцъ...

И смотритъ въ глаза,—благодарный заговорившему съ нимъ человѣку.

— Домой, братъ, не иду, потому... заголосятъ!.. Нѣженъ я нутромъ, братъ... заголосятъ они теперича на меня! Да!

Я чувствую, какъ черная кошка вскочила въ мое сердце и скребетъ въ немъ, скребетъ подлыми, острыми когтями. Дѣлаю суровое лицо.

— За что разсчитали-то? Пилъ, небось?

Онъ согласно киваетъ головою.

— Пить пили... только оно того... не причинно...

— Ну, какъ не причинно? настаиваю я, нѣсколько обрадованный возможностью буржуазной прицѣпки, что молъ—на «порочный типъ» не напасешься, какъ на бездонный чанъ. Онъ тупо и въ то же время какъ-то насмѣшливо и злорадно измѣряетъ меня тусклымъ взглядомъ и равнодушно произноситъ:

— Всѣхъ, братъ, нонѣ поравняли: что пьяницъ, что

тверезыхъ... Хозяинъ три отдѣленія закрылъ. Что̀ станковъ... Нѣтъ разсчета!

— Просили хозяина-то?

— Кучились...

— Ну?

— Плачетъ... Нешто, говоритъ, я радъ? Нешто моя какая тутъ выгода? Я бы душою для васъ готовъ, да нѣтъ никакой моей возможности: несу большіе убытки и не оправдываю себя... Мнѣ, говоритъ, изъ-за васъ не левольвертомъ застрѣлиться: у меня дѣти... Оно и точно: дѣти! — согласно и извинительно киваетъ головою бѣднякъ. Туго ему...

— Какъ же ты теперь?

Онъ оживляется и опять начинаетъ вертѣть заскорузлыми пальцами.

— Жилетка теперича — рубль... сапоги—въ плохой конецъ—три рубля... Ежели прочію одежу на смѣнку, придачи возьму...

Черная кошка изъ сердца протягиваетъ когти къ горлу. Я слышу и не слышу длинную простую трагедію, какъ трудовой человѣкъ размѣниваетъ себя въ босяка...

— А дальше?—спрашиваю я—и кажется мнѣ, что не я спрашиваю, а кто-то другой. И слышу отвѣтъ:

— Ежели долго, не передохнуть!

— Возьми себѣ...

Смотритъ на монету, какъ на что-то чужое и далекое, и медленно отвѣчаетъ:

— Я возьму...

И я понимаю, что этотъ человѣкъ, до сихъ поръ, никогда еще не принималъ милостыни, и спѣшу уйти отъ него быстрыми, быстрыми шагами, потому что кошка въ душѣ злорадно хохочетъ:

— Врешь! Не выдержишь! Заплачешь! Заплачешь! Врешь!

А человѣкъ медленно плетется сзади, вертитъ пальцами и разсуждаетъ:

— Ежели теперь этотъ рубль, да жилетка — рубль...

Раннимъ утромъ, въ вагонѣ, два джентльмена, въ коррндорѣ предъ уборною, смотрятъ на снѣгурочкину весну,— слышу ихъ бесѣду:

— И приходятъ они къ директору депутаціей... пятнадцать человѣкъ. Босые, конечно, оборванные, но—честь-честью, все очень пристойно... Что скажете? — Пришли къ вамъ, господинъ директоръ, потому что стали наслышаны, будто бы фабрика продала шелуху хлопковую нѣмцу на свозъ.—Правда: продала. Пятнадцать тысячъ въ годъ нѣмецъ обязался платить... чортъ его знаетъ, на что она ему надобна?—Очень мы, босяки, просимъ вашу милость, нельзя ли это ваше соглашеніе отмѣнить?—Да вамъ-то что?—Мы безъ оной шелухи жить не можемъ.—А что вамъ въ ней?—Какъ—что, ежели мы въ ней зимуемъ?—Что-о-о?—Да очень просто: какъ она сугробами на пустырѣ лежитъ, то мы роемъ въ ней вродѣ какъ бы норы, чтобы одному человѣку умѣститься... Шелуха то гніетъ, тепло развиваетъ... ну, мы и—ничего, зимуемъ... Пожалуйста, вы насъ этого прибѣжища не лишайте: иначе, намъ зимы не перенести и должны мы придти въ полную отчаянность... Директоръ ужаснулся, телеграфируетъ хозяину: вотъ молъ, что и что. Тотъ отвѣчаетъ: Богъ съ ними, исполните ихъ просьбу, отъ сдѣлки съ нѣмцемъ отказываюсь,—ежели фабрика станетъ горѣть, да машины ломаться, то не пятнадцать тысячъ убытка хватимъ... Вотъ они каковы, наши зимогоры-то!

— Ужъ именно, что зимогоры... Горе имъ зима!

Мчитъ меня во весь опоръ трескучая пролетка по острокаменной мостовой шумнаго, пыльнаго Ярославля. Ѣхать тише нельзя: опоздаю къ поѣзду. И — вдругъ— откуда-то изъ канавы вскочилъ человѣкъ, босой, въ пор-

*

тахъ и рубищѣ, и ринулся вслѣдъ за мною неистовымъ бѣгомъ.

— Не берите матросовъ вещи нести! — вопитъ онъ охриплымъ басомъ.—Я снесу... И—на пароходъ! И — на поѣздъ!

— О, дьяволъ!—болѣзненно ругается извозчикъ и нахлестываетъ коня.

А зимогоръ настигъ и бѣжитъ, придерживаясь за крыло пролетки, и довольно весело поблескиваетъ на меня голубыми, безразличными глазами, съ коричневаго, раздутаго голодною выпивкою, лица.

— Да отстань ты, чо-ортъ! — совсѣмъ страдальчески визжитъ мой извозчикъ: — за крыло тоже схватился... крыло оторвешь!

— Ладно: я и безъ крыла... по-ле-чу!—хрипитъ человѣкъ-конь, налегая не отстать отъ лошади.—Только вы матросовъ не берите... я снесу...

И уже по той ярости, какъ извозчичій кнутъ хлопаетъ по лошадиному крупу, чувствую я, какою надрывною и злою жалостью полно сердце моего возницы къ голымъ пяткамъ этого скорохода, обдираемымъ пригрѣтою булыжною мостовою, по которой, и въ сапогахъ-то, тихимъ шагомъ ступать — божеское наказаніе; какъ мучительно совѣстно ему предъ этимъ бѣгущимъ живымъ «ничего не подѣлаешь», какъ страстно ему хочется, чтобы поскорѣе доскакать до цѣли, и прекратилась бы эта пытка бѣгущаго брата-человѣка.

— Да остановись ты! Пусти его въ пролетку! кричу я.

— Нешто можно?—угрюмо огрызается возница.—Мнѣ накладутъ...

— Кто?

— Матросы накладутъ, зачѣмъ подвезъ... Городовой прибавитъ... за босое безобразіе!

— Я добѣгу!—хрипитъ-успокаиваетъ, у пролеточнаго крыла, задыхающійся двуногій-конь.

А на пристани — чуть было не вышло, что бѣжалъ онъ даромъ: ястребами налетѣли матросы на мой злополучный чемоданъ.

— Оставьте! — кричу я. — Не троньте. Пусть босякъ несетъ.

— Мы здѣшніе матросы.

— Пусть онъ несетъ. Онъ полгорода за мною бѣжалъ.

— Мы здѣшніе матросы.

— Да — знать я не хочу, что вы здѣшніе матросы! Человѣкъ бѣжалъ за мною двѣ версты, — дайте ему заработать...

— Заработать-то, чай, и мы хотимъ... — угрюмо-угрюмо баситъ «матросъ» въ чуйкѣ, страшно нехотя выпуская изъ рукъ мой чемоданъ, потому что видитъ: я взбѣшенъ и готовъ отбивать свои вещи хоть силою.

— На тебѣ вонъ чуйка хорошая, сапоги, — резонирую я, — а онъ босой, ноги стертыя...

— Чуйка и сапоги на мнѣ хозяйскіе, — спокойно возражаетъ «матросъ». — Снять ихъ, — я такой же зимогоръ буду. А у насъ тоже дѣти... надо пить-ѣсть... Мой случай, — что же у меня мой случай рвать?

Я смотрю ему въ лицо, и — мнѣ совѣстно: оно — скуластое, голодное, и глаза полны жаднымъ, молящимъ блескомъ, безмолвнымъ воплемъ о хлѣбѣ насущномъ, который достается ему «случаемъ», а «случай»-то ушелъ къ прибѣглому босяку... А тотъ стоитъ, храпитъ переутомленною грудью, шатаетъ его отъ бѣга-то, и ужъ никакого чужого «случая» нельзя ему пощадить за цѣну такого каторжнаго труда, и всякія соображенія и программы, законно распредѣляющія овому кусокъ, овому два, должны сконфуженно умолкнуть предъ этимъ человѣкомъ-лошадью, облитою грязнымъ потомъ... И опять — кошки въ сердцѣ, съ мяукающимъ хохотомъ ихъ:

— Врешь! Не выдержишь! Глаза на мокромъ мѣстѣ! Заплачешь!

Хожу я длиннымъ-длиннымъ бульваромъ, шепчущимъ о народившейся веснѣ, и широкимъ серебромъ блеститъ Волга—еще скромная, ярославская Волга, Волга-дѣвушка, едва изъ подростковъ... Скатъ къ ней зеленый, муравчатый, усѣянъ розовыми, синими, коричневыми пятнами: лежатъ подъ солнцемъ, грѣются, питаются тепломъ зимогоры. Равнодушны лица, пусты и загадочны глаза, окидывающіе васъ долгимъ взглядомъ экзаменующаго сфинкса:

— Мы-то, братъ, молъ, тебя понимаемъ и видимъ насквозь и давно о тебѣ рѣшили, каковъ ты еси, и что съ тобою дѣлать, а вотъ ты около насъ—походи... попытай... подумай!

И даже не просятъ. Одинъ, наконецъ, окликнулъ:

— Баринъ, папироскою не одолжите ль?

— Не курю я.

— Ну, въ такомъ случаѣ, снабдите до завтра гривенникомъ на тотъ же самый предметъ?

Получилъ, послалъ сосѣда-мальчишку въ лавку. Я сижу на лавочкѣ, онъ лежитъ на муравѣ и—черезъ бульварную рѣшетку—переговариваемся.

— Работишки нѣтъ?

— Нѣту: не здѣшній я.

— Нигдѣ ея нѣтъ,—спокойно соглашается зимогоръ. Былъ я въ Рыбнѣ, былъ въ Костромѣ, до Казани съ пароходомъ бѣгалъ... вездѣ—одно. Народа много, а работы нѣтъ. Да оно такъ и слѣдствуетъ... На что?

— Какъ—на что? А кормиться?

— Кормиться-то? Лѣто прокормитъ... А такъ, вообще, никакой радости... Я вотъ, скажемъ, кондитеръ, а—что мнѣ? Кондитерское мое искусство никому не нужно, и, ежели для прокорма, то долженъ я наниматься грузить барки, какъ самый простой и необразованный вахлакъ... Что же мнѣ? Какое въ томъ удовольствіе? Отъ пустого желудка, конечно, и не на то еще пойдешь, а—чтобы оно мнѣ нравилось, на это нѣтъ моего согласія. Я природный

кондитеръ, кондитеромъ мнѣ и быть, а не то, что. Телеграммы читали сегодня?

— Читалъ.

— Что значится?

— М-м-м... неутѣшительно... бьютъ нашихъ... бьютъ...

Зимогоръ переворачивается брюхомъ вверхъ, жмурится отъ солнца и изрекаетъ короткую сентенцію:

— Не съ дураками воюемъ...

Принесъ ему мальчишка папиросъ. Лежитъ, куритъ. Потомъ:

— А долго это такъ будетъ?

— Что?

— Да вотъ—война... и, значитъ, работы нѣтъ?

— Богъ знаетъ!

Онъ жмурится съ удовольствіемъ и весело освѣдомляетъ:

— Не передохнуть!.. Сдохнемъ мы, зимогоры, видитъ Богъ, сдохнемъ: не передохнуть!

Медленно шагаю длинною Власьевскою улицею, лучшею въ Ярославлѣ. Впереди меня идутъ два франтоватыхъ юноши и восклицаютъ:

— Въ эти Таборныя улицы прилично одѣтому человѣку показаться болѣе нельзя! Васъ ругаютъ, бьютъ, швыряютъ въ васъ камнями... одному недавно бокъ прострѣлили.

— Ужъ очень много тамъ безрабочаго народа. Отъ праздности это. Отъ бездѣльной досады и тоски.

— Просто—пьяницы!

— Но, другъ любезный, запьешь, если—руки хоть на стѣнку повѣсь: въ плечахъ не нужны,—безработица!

— Ты Туннельскаго знаешь?

— О, да.

— Скотина онъ вѣдь ужасная, по женской части совершеннѣйшій моветонъ.

— Ну?

— Радуется: «товаръ» подешевѣлъ... За маленькій золотой невинныхъ приводятъ!

— Тьфу! Морду ему бить!

— Руки коротки.

Въ вагонѣ опять. Другіе купцы—лѣсопромышленники, что ли?—иного типа, словно изъ «Лѣсовъ» Печерскаго: длиннобородые, мужиковатые патріархи. Но тѣ же вздохи, тотъ же шепотъ.

— Дѣла бы дѣлать можно, да въ деньгахъ большая заминка.

— Нѣтъ денегъ, туго съ деньгами.

— Банки жмутся... Къ частному дисконту безъ 12 процентовъ не подступись...

— И бумажка эта катитъ въ народушко, катитъ... валомъ ее опять къ намъ навалило! Откуда берется?

— Въ послѣдніе годы, опосля золотой валюты, бывало, ищешь бумажекъ-то золото размѣнять, по лавкамъ кланяешься. А теперь—трешницы, какъ лещи, рубли желтенькіе, какъ караси...

— У меня въ магазинѣ, послѣ двадцатаго, чиновникъ сплошь бумажкою платилъ.

— Да намъ—что золото, что бумажка, какъ внутри страны, оно бы, въ частномъ своемъ оборотѣ, все единственно. А вотъ—кредита нѣту! Рѣжемся безъ кредита!

— Двѣнадцати процентныхъ-то теперича благодѣтелями, милостивцами зовутъ.

— Ни кредита, ни заказовъ. Народъ бездѣльно *сидитъ*, напуганный, за кормы дрожитъ... Весною—какъ пошли, какъ пошли въ Россію съ сѣверу... «оравушки» то эти, бѣлые хребты—кажись, никогда такого похода не было! Словно вся баба отъ насъ по Ярославкѣ ушла...

— Гвардія! Ихъ бы супротивъ японца!

— Дѣла закрываются. Никто вѣрить не хочетъ. Да и резонъ: кому нынѣ вѣрить не опасно? Никто нынѣ дѣлъ своихъ не хозяинъ.

— Никому вѣрить нельзя!

Молчаніе. Одинъ начинаетъ:

— Ежели такъ долго...

Я жду уже привычнаго мнѣ заключенія:

— Не передохнуть!

Но купецъ, въ видѣ варіанта, скрѣпляетъ:

— Только Макарьевская обнаружитъ, какой промежъ нашего брата откроется труболетъ.

Опять бульваръ. Сижу съ крупнымъ землевладѣльцемъ и слушаю плаксивыя рѣчи о торговомъ договорѣ съ Германіей...

— Я не могу,—ей Богу, не могу... Минимальныя цѣны... вѣдь это—обухъ!.. Квитанція на разореніе!.. Пятакъ на пудъ дешевле, и я не оправдываю расходовъ, я банкротъ...

— Война, батенька!

— Покорно васъ благодарю: объяснили! Не знаю я, что ли, что война? Патріотъ, жертвовалъ, жертвую. Понимаю... Но—къ нѣмцу въ кабалу?! Жутко-съ. Изъ-за чего мнѣ теперь съ землею биться. Изъ-за чего? Концовъ съ концами не свести... А народъ сталъ такая сволочь, звѣремъ на тебя глядитъ... либо лѣнтяй, босякъ, зубоскалъ презрительный... И все воетъ: работы!.. А откуда я возьму имъ работы? Не то, что платить,—кормить самому дороже становится...

Лэндъ-лордъ ковыряетъ тростью песокъ въ глубокомъ негодующемъ раздумьи.

— Если бы молодость!—вздыхаетъ онъ.

Я отвѣчаю сочувственнымъ вздыхомъ.

— Плюнулъ бы, кажется, на все и самъ босячить пошелъ!!!—восклицаетъ онъ восторженно, въ пиѳическомъ какомъ-то экстазѣ.—По крайней мѣрѣ, безъ заботъ о завтрашнемъ днѣ... Пусть съ меня Максимъ Горькій пьесу пишетъ!

Пароходная пристань. Мелкіе торговцы ждутъ перевоза черезъ Волгу и мѣняются замѣчаніями:

— Ярославлю нашему теперича,—какъ мостъ черезъ Волгу ляжетъ —крышка: перегрузокъ лишась, онъ не городъ.

— За то всей сѣверной окраинѣ—оживленіе.

— Въ томъ не сомнѣваюсь, однако, мнѣ своего родного города крѣпко жаль, потому что онъ долженъ окончательно захудать.

— И то не цвѣтемъ.

— Все же-съ!

— Болтаютъ: въ Питерѣ надумали флотъ перевести на нефтяную топку, и погонятъ будто бы отъ Рыбинска подземною трубою нефтепроводъ. Правда аль нѣтъ?

— Совсѣмъ насъ тогда зашибетъ Рыбна!

— А я такъ полагаю: городъ чище станетъ, зимогоръ отъ насъ посхлынетъ въ мѣста—куда прибыльнѣе; въ тѣ поры мы и тише, и благочестнѣе, по правой старинѣ жить начнемъ...

— По старинѣ? Нешто времена-то ворочаются? По старинѣ! Хорошо стариною жить, когда дома — полныя чаши... А бѣдности, да лишенію—что старина, что новизна—одна неволя!

— Зимогоръ-то схлынетъ, да—самимъ бы въ зимогоры не пойти!

— Перегрузомъ жили... Опять же, если Рыбна... Архангельскому съ Рыбною тогда жить, а намъ—помирать.

— Краешки играютъ, а середка мретъ!

Глубокій вечеръ. Падаютъ быстро и влажно сѣрыя сумерки. У вокзала, на перильцахъ, сидятъ два зимогора.

— Шушка!

— Ась?

— Заработалъ?

— Нѣтъ.

— А что жралъ?

— Марья вѣритъ.

— Ишь!

Молчатъ.

— Угости!

— Пошелъ къ дядѣ!

— Лихъ—я угощу?

— На какія?

— А вонъ—баринъ ходитъ.

Молчатъ.

— На ночлегъ пора.

— А ты гдѣ нонѣ?

— На травѣ. А ты?

— Подъ небомъ.

Молчатъ.

— Угощать хотѣлъ, шутъ,—такъ, угощай: время не рано... спать хочу!

Зимогоръ спрыгиваетъ съ перилъ и, шлепая тяжелыми ступнями, подходитъ ко мнѣ—съ полупоклономъ:

— Мусье! Такъ какъ вы здѣсь по плацформѣ чрезвычайно какъ давно гуляете, прикажите на томъ основаніи намъ съ товарищемъ на пару пива... Мерси вамъ за благородство... Шушка! Вали къ «Городу Любиму»... Адье-съ!

1904 г., 1 мая.

Приложеніе: А.

Два слова о курьезѣ съ „Альбигойцемъ".

Въ мартовской книжкѣ (1903 г.) «Миссіонерскаго Обозрѣнія» священникъ М. Розовъ посвятилъ длинную замѣтку моему святочному разсказу «Альбигоецъ», напечатанному въ «СПБ. Вѣдомостяхъ», 27 декабря 1902 года. Замѣтка открывается слѣдующимъ милымъ вступленіемъ:

«Теперь въ модѣ иносказанія въ печати.

То тамъ, то здѣсь появляются въ періодическихъ изданіяхъ разнаго рода повѣсти, басни и т. п., въ которыхъ аллегорически изображаются современныя намъ лица и событія.

Прямо, открыто говорить боязненно: пожалуй, прикроютъ газету, да и не такъ заинтересуешь публику! Лучше «пущать», какъ говорятъ цивилизованные мѣщане, скрытую мораль.

И «пущенная» печатью притча странствуетъ по свѣту, волнуя умы людей и разжигая страсти.

— «Вы не читали «Альбигойца?» — спрашиваетъ меня сосѣдъ въ вагонѣ.— «На-те прочтите».— Читаю: «Старый альбигоецъ, могучій графъ Раймондъ Тулузскій одиноко умиралъ въ полуразрушенной башнѣ своего родового замка... и т. д.

Конецъ: «...и хотѣли похоронить Раймонда съ честью.

Но легатъ Арнольдъ приказалъ выбросить трупъ его собакамъ» (Перепечатано изъ «С.-Петерб. Вѣд.»).

— Ну, что по вашему?—спрашиваетъ сосѣдъ.

— Это, говорю, не о Толстомъ ли?»

И такъ далѣе.

Разсказъ мой — святочный и напечатанъ въ святочномъ № газеты. Цѣль его—сказать лишній разъ людямъ, что нетерпимость къ чужой вѣрѣ есть дѣло нехристіанское. Говорить это значитъ ли «волновать умы людей и разжигать страсти»?

Графъ Левъ Николаевичъ Толстой, слава Богу, живъ и здоровъ. Что существуетъ легенда въ народѣ, будто онъ «умеръ и останки его лишены погребенія», я узналъ впервые отъ свящ. М Розова, изъ «Миссіонерскаго Обозрѣнія», и, не въ укоръ почтенному пастырю,сильно подозрѣваю, что онъ эту легенду самъ выдумалъ. Что касается графа Раймунда Тулузскаго, онъ — лицо историческое, и обстоятельства его смерти и погребенія засвидѣтельствованы тоже исторически: о разгромѣ альбигойцевъ папскимъ легатомъ Арнольдомъ обязательно знать всякому, учившемуся въ семинаріи, а санъ св. Розова ручается, что онъ былъ въ ней. Я неодобрительно отношусь къ жестокости изувѣра-легата. Г. Розовъ на четырехъ страницахъ доказываетъ, что онъ не поступилъ бы, какъ легатъ,—слѣдовательно, тоже легата не одобряетъ. Вотъ и прекрасно. Но съ какой же стати, въ такомъ случаѣ, онъ за легата обидѣлся? Что ему легатъ, папа, папство, папская нетерпимость? Ужъ если кому обижаться на «Альбигойца», то—развѣ католическимъ ксендзамъ, представителямъ непреклоннаго Рима. Однако, съ ихъ стороны протестовъ мы не слышимъ. А разобидѣлся «антиклерикальною» (слова г. Розова) легендою почему-то православный священникъ. Was ist ihm Hecuba? Was ist er ihr?

Два слова объ «иносказаніяхъ». Три четверти «иносказаній» пріобрѣтаютъ смыслъ таковыхъ, исключительно

благодаря усердію изыскателей вродѣ г. Розова. Позволю себѣ сообщить по этому поводу очень поучительное сказаніе не слишкомъ давняго прошлаго.

Во время знаменитой холеры сороковыхъ годовъ, московскій митрополитъ Филаретъ въ одной изъ блестящихъ проповѣдей своихъ коснулся извѣстной библейской исторіи: царю Давиду, за грѣхъ его, было предоставлено выбрать одну изъ трехъ народныхъ казней: голодъ, нашествіе непріятелей, моръ. Царь Давидъ выбралъ моръ. Вскорѣ затѣмъ, митрополитъ Филаретъ получилъ изъ Петербурга строжайшій запросъ: какую проповѣдь - притчу произнесъ онъ о царѣ Давидѣ. Изъ слушателей нашелся тоже какой-то священникъ Розовъ и донесъ, куда нашелъ удобнымъ: говорилъ-де владыка о Давидѣ, а намекалъ, думается мнѣ, на Николая Павловича. Недоброжелатели Филарета ухватились за доносъ обѣими руками,стали огонекъ разжигать и раздувать, наконецъ, дѣло, въ самомъ враждебномъ и тенденціозномъ освѣщеніи, было доложено во дворцѣ. Въ концѣ концовъ, митрополитъ получилъ внушеніе: въ успокоеніе общественныхъ толковъ, разъяснить во всеобщее свѣдѣніе, что проповѣдь говорена была точно о царѣ Давидѣ и въ такомъ смыслѣ надлежитъ ее понимать, а отнюдь не въ примѣненіи къ современнымъ событіямъ. Филаретъ исполнилъ предписаніе съ буквальною точностью, разославъ по церквамъ циркуляръ требуемаго содержанія. Послѣдствія понятны: опроверженіе было принято за утвержденіе, и всѣ бросились читать невинную проповѣдь, какъ политическій памфлетъ. Политическій памфлетъ Филарета—самаго строгаго государственника русской церкви! человѣка, довѣріе къ которому Верховной Власти было безпредѣльно,—впослѣдствіи редактора манифеста объ освобожденіи крестьянъ! Вотъ до какихъ жестокихъ абсурдовъ доводитъ охота разныхъ гг. Розовыхъ за «иносказаніями». А засимъ предоставляю св. Розову толковать мою легенду, какъ ему угодно.

Если со всѣми розовскими «чтеніями въ сердцахъ» считаться, такъ и писать нельзя. Я, на вѣку своемъ, перевелъ и обработалъ литературно не одинъ десятокъ легендъ европейскаго фольклора, въ томъ числѣ, одну фламандскую—о принцессѣ, которая вышла замужъ за чорта, чтобы обратить его на путь истинный, но не успѣла въ своемъ предпріятіи (изъ сборника Берту). Цензоръ одной провинціальной газеты не пропустилъ легенды. Редакторъ спрашиваетъ:

— Почему?!

— Потому что я умѣю читать между строкъ. Это—иносказаніе о нигилисткѣ (фамилія), которая вышла въ семидесятыхъ годахъ замужъ за жандарма (фамилія), надѣясь, съ помощью его, приносить пользу революціонной пропагандѣ...

— Впервые слышу о такомъ случаѣ...

— Да-съ, вотъ и знайте!

Другой цензоръ въ другомъ городѣ (Ростовѣ на Дону) пропустилъ легенду, не зачеркнувъ въ ней ни словечка, что и понятно: легендѣ пятьсотъ лѣтъ!.. Она вышла въ мой сборникъ «Сказочныя Были» и повторилась въ полной неприкосновенности двумя изданіями («Не всякаго жалѣй!»), рѣшительно никого не вызвавъ на сомнѣнія, вооружившія противъ нея К—вскаго цензора!

Гг. Розовы и К° воображаютъ, что изыскивать въ каждомъ словѣ, которое не по вкусу имъ, «иносказанія», враждебныя «основамъ», значитъ любить и уважать основы, поддерживать ихъ авторитетъ.

Маленькая притча,—на этотъ разъ, дѣйствительно, несомнѣнно, «иносказаніе».

Шли по улицѣ два пріятеля. Въ это время кто-то прохожій громко крикнулъ — Дуракъ!.. Одинъ изъ пріятелей не обратилъ на крикуна ни малѣйшаго вниманія и пошелъ своею дорогою. Но другой такъ и закипѣлъ злобою...

Принялъ на свой счетъ?

О, нѣтъ! На счетъ пріятеля:

— Слышишь? Слышишь? Это онъ про тебя!

— Почему ты думаешь?

— Да ужъ повѣрь мнѣ: я знаю, что про тебя. Ругается, — такъ, значитъ, тебя ругаетъ. Ужъ это такъ: я лучше знаю. Остановись же и намни ему бока!..

Какъ вы думаете, господа: высоко ли цѣнилъ своего пріятеля этотъ пріятель, когда почиталъ относящимся къ нему всякое случайно пролетѣвшее въ воздухѣ обидное слово?

1903.

Приложеніе Б.

И. Л. Бахтадзе. (Хонели) [1].

Съ грустнымъ чувствомъ прочелъ я телеграммы изъ Закавказья о смерти Илико Хонели. Рано умеръ человѣкъ! А былъ человѣкъ хорошій, и дремали въ немъ полезныя, недюжинныя силы.

Мы вмѣстѣ работали въ «Новомъ Обозрѣніи» Н. Я. Николадзе—живой и дружной газетѣ, о сплоченной и бодрой редакціи которой я всегда вспоминаю съ особеннымъ удовольствіемъ, какъ о миломъ миражѣ литературной молодости. Какъ весело жилось, какъ задорно и смѣло писалось! Какъ интересовало то, о чемъ пишешь! Шпигуешь, бывало, какого нибудь Матинова или Измайлова, тифлисскихъ городскихъ дѣятелей того добраго стараго времени, — волнуешься, весь горишь: ну-ка, если такъ тебя повернуть, что ты, милостивый государь, на это скажешь? а вотъ этакъ уличить? такъ и сякъ разоблачить? здѣсь—подпечь, тамъ—подрумянить?.. И, сдавъ статью въ наборъ, увидѣвъ ее въ газетной полосѣ хотя бы и сильно искаженною цензорскимъ карандашомъ, мы чувствовали себя героями-не героями, но людьми, во всякомъ случаѣ, исполнившими необходимый и насущный общественный долгъ. И когда,

---

[1]) Къ разсказу *„Нефтяныя неожиданности“*.

бывало, нумеръ газеты вдругъ шибко пойдетъ въ продажѣ, это наполняло сердца наши торжествомъ — вовсе не съ точки зрѣнія матеріальныхъ преуспѣяній въ «розницѣ», но— «ага! пробрали таки общественное мнѣніе! зашевелилось сонное царство! ну, держись теперь, капиталистическая партія! вотъ увидите, какъ хорошо пойдетъ на выборахъ грузинская оппозиція!»

Все это было наивно, какъ поглядишь теперь назадъ, даже во многомъ, пожалуй, и смѣшно, но зато искренно, свѣжо, молодо и сильно. Воспринимались впечатлѣнія съ жадностью, воспроизводились съ пылкостью, мазокъ былъ кричащій, рѣшительный; полемизировали—не щадя живота, съ яростью, чтобы— «хоть морда въ крови, да наша взяла!» Жилось какъ на турецкой перестрѣлкѣ, но... чего бы, чего я не отдалъ сейчасъ, чтобы вновь проникнуться старою платоническою ненавистью къ Измайлову, Матинову, волноваться по поводу скверныхъ нотъ перваго тенора въ мѣстной оперѣ, поражать гидру банковой партіи и воспѣвать, какъ гомерическихъ героевъ, партію «дворцовыхъ номеровъ»! Какъ вѣрилось тогда, что это жизнь, что это дѣло, что это надо! Но --

Vorbei sind Kinderspiele,
Und alles rollt vorbei...

Въ томъ числѣ начинаютъ rollen vorbei и люди. Бѣдный Илико!

Хонели,—подлинное имя его Илья Лукичъ Бахтадзе,— былъ фельетонистъ и, что въ наше время большая рѣдкость, фельетонистъ настоящій: словеснаго мякиша со щеки на щеку не жевалъ, сухихъ тумановъ не разводилъ, а писалъ житейское, насущное и дѣльное, къ чему его душа рвалась, о чемъ сердце горѣло, — мѣтко, рѣзко, остроумно. Придя въ Тифлисъ въ 1888 году, я засталъ его уже съ именемъ. Несмотря на то, что, войдя въ газету Н. Я. Николадзе, я невольно вторгнулся въ область Бахтадзе, въ фельетонъ, и

публика стала интересоваться моими писаніями, какъ новинкою, я никогда не испытывалъ со стороны покойнаго Ильи Лукича ни малѣйшей jalousie du métier; жили и работали мы съ нимъ душа въ душу, ни разу не омрачивъ взаимныхъ отношеній хотя бы тѣнью неудовольствія. Собирались мы было издавать въ Тифлисѣ газету и названіе придумали, по тому времени, самое злободневное и модное — «Телефонъ». Главное управленіе не разрѣшило изданія. Я былъ тогда очень удивленъ, Хонели—еще больше. . Въ вопросахъ неразрѣшеній, неутвержденій и прочихъ цензурныхъ воздѣйствій на литературную «необузданность и неустойчивость» (о, братья писатели! знакомы ли вамъ эти чудища канцелярской мотивировки?) русскому журналисту надо обтерпѣться, покуда на сердцѣ у него отъ воспріятія ряда такихъ «мѣръ» не наростетъ огромный жесткій мозоль; до тѣхъ поръ жутко и больно, а съ мозолемъ — ничего: улыбаешься и говоришь вѣжливыя слова даже въ тѣхъ жесткихъ случаяхъ, когда смолоду сердце кровью обливалось и уста крикомъ проклятій проклинали...

Милый мой Хонели! Ему приходилось жутче, чѣмъ мнѣ. Онъ былъ человѣкъ мѣстный, окраинный, любилъ свою Имеретію до страсти, ему отъ нея некуда было уйти. Когда цензура стала душить «Новое Обозрѣніе» такъ, что не продохнуть, когда капиталистическая домовладѣльческая партія, пользуясь затрудненнымъ денежнымъ положеніемъ г. Николадзе, довела этого замѣчательнаго грузинскаго вождя публициста до необходимости разстаться съ газетою и продать ее князьямъ Тумановымъ, я философически собралъ пожитки и поѣхалъ на родной сѣверъ искать труда и счастья. А Хонели остался изнывать въ Тифлисѣ,— именно, изнывать, потому что молчать публицисту, когда у него кипитъ душа и молодыя мысли плодотворно роятся, какъ пчелы въ вешній день, это казнь, горше которой нѣту. Я читалъ нѣсколько фельетоновъ его въ милютинскомъ «Кавказѣ»,—они не были плохи, но чувствовалось, что

человѣкъ потерялъ корень, на которомъ росъ его свободный талантъ, что онъ пишетъ въ гостяхъ, а не дома. И я ничуть не удивился, когда затѣмъ дошли до меня слухи, что Хонели почти вовсе забросилъ публицистику, пошелъ служить, а, когда служба даетъ досугъ, лежитъ въ своемъ родномъ Хони подъ смоковницею... Тамъ легъ онъ и теперь... навѣки!

Нѣсколько разъ я пытался извлечь его съ юга на сѣверъ, въ столичную журналистику. Но—черезчуръ экзотическій цвѣтокъ — онъ не поддавался пересадкѣ на нашу суровую почву.

— Не могу! Я ѣздилъ недавно въ Петербургъ и чуть въ немъ не задохнулся, — писалъ онъ мнѣ, лѣтъ пять назадъ,—солнца нѣтъ, воздуха нѣтъ.

А предложенія были лестныя, выгодныя. Но онъ остался съ южною идеалисткою Маріей, не промѣнявъ ея на практическую сѣверную Мареу и, говоря откровенно, благую часть избралъ.

Да и здоровье ему не позволяло. Онъ вѣдь чахнулъ уже давно. Легкія его были отравлены еще десять лѣтъ назадъ; уже и тогда онъ производилъ впечатлѣніе больного и недолговѣчнаго человѣка. И тѣмъ болѣе было жаль его, что уродился-то онъ на свѣтъ молодцомъ, по росту и сложенію; но недугъ изсушилъ его длинную фигуру, вытянулъ лицо, ввалилъ щеки, сгорбилъ и насутулилъ плечи...

Чортъ возьми! вѣдь, собственно, въ прескверныхъ обстоятельствахъ существовали мы тогда и бѣдны были, какъ церковныя мыши, а — сколько споровъ, смѣха, живыхъ порывовъ, поэтическихъ увлеченій, о которыхъ теперь даже и вспомнить грустно: куда и зачѣмъ они ушли?

Бахтадзе, съ его веселыми карими глазами, былъ премилый спорщикъ. Раскраснѣется, бывало, бѣгаетъ по комнатѣ, оретъ, «грузофильствуетъ» и остритъ, остритъ, остритъ... У него былъ истинно-имеретинскій юморъ, беззаботная склонность къ смѣшному; въ то же время онъ былъ мягокъ

характеромъ, какъ женщина, и—безцеремонный, безудержный въ писаніяхъ – въ обиходѣ частной жизни держался застѣнчиво до неловкости, паче всего боясь, не сдѣлать бы чего неподходящаго, не обидѣть собесѣдника.

Воспитанный въ семинаріи, залпомъ проглотивъ и воспріявъ, по окончаніи курса, колоссальною своею памятью русскую литературу 60 хъ и 70-хъ годовъ, онъ крѣпко стоялъ на фундаментѣ прогрессивныхъ и освободительныхъ идеаловъ, ею завѣщанныхъ. За исключеніемъ Н. Я. Николадзе, я не знаю инородца, который бы владѣлъ русскимъ языкомъ съ такимъ блескомъ, какъ Хонели. Правда,—онъ Пушкина зналъ наизусть и Гоголя страницами цитировалъ на память. При такихъ условіяхъ, обрусѣетъ слогъ и у инородца лучше, чѣмъ у природнаго русскаго. А недавно въ клочкѣ одной петербургской газеты я прочелъ, что «Сорочинская ярмарка» сочиненіе Григоровича... Quousque tandem?.. Какіе же тутъ еще могутъ быть «слоги»?

Помню пальбу, какую мы съ Бахтадзе подняли изъ-за Писарева. Просто,—Давидова гора тряслась,—такъ вопили!—пока не изнемогли, и побѣжали освѣжить пересохшія горла кахетинскимъ въ «Пуръ-Гвино»... При всей мягкости своего характера упрямъ И. Л. былъ страшно. Одинъ изъ лучшихъ его беллетристическихъ очерковъ посвященъ характеристикѣ имеретинскаго катера, т. е. мула, драгоцѣннѣйшаго домашняго животнаго, какое только можно вообразить себѣ въ хозяйствѣ: силенъ, уменъ, веселъ, красивъ, ѣсть почти не проситъ, а работать можетъ хоть 24 часа въ сутки, при этомъ возитъ вьюки по тропамъ, гдѣ не пройти ни лошади, ни ослу, ни пѣшему человѣку. Но и эта роза не безъ шиповъ: несносная капризность и проказливость катера, проявляющіяся съ почти фантастическими неожиданностью и изобрѣтательностью въ продѣлкахъ, приводятъ въ бѣшенство самыхъ терпѣливыхъ хозяевъ и часто заставляютъ ихъ продавать первому встрѣчному за безцѣнокъ весьма дорогіе экземпляры катеровъ. Бахтадзе описалъ лю-

бопытнаго звѣря увлекательно, съ истинно джеромовскимъ юморомъ; фокусы и плутни хитрыхъ катеровъ и фигуры жертвъ ихъ коварства изображены такъ живо, съ такимъ знаніемъ мѣстныхъ нравовъ, условій, съ такимъ теплымъ проникновеніемъ въ couleur locale, что даже сейчасъ, вспоминая нѣкоторыя подробности, мнѣ хочется смѣяться, хотя я чувствую себя совсѣмъ невесело... Бѣдный Бахтадзе!..

И вотъ, однажды, въ большомъ тифлисскомъ обществѣ, стали выхвалять эту вещь при авторѣ:

— Чудо! прелесть! И какъ только вамъ удалось написать ее такъ жизненно, весело, вѣрно?

А Бахтадзе засмѣялся и говоритъ:

— Это—потому, что я о землякѣ писалъ, отъ сердца. Вы посмотрите на меня: вѣдь и самъ-то я — имеретинскій катеръ.

Жаль мнѣ милаго Илико... Мы съ нимъ почти ровесники были. Жаль вообще,—по человѣчеству и дружеству; жаль и того, что смерть увела его съ земли, не давъ осуществиться и половинѣ надеждъ, что сулили его богатыя и свѣжія силы. Жаль, что талантъ, созданный для боевой и широкой журналистики, такъ и пролежалъ въ узкомъ и темномъ углу, точно былъ свѣту не надобенъ А между тѣмъ какихъ чудесъ могло бы натворить подобное дарованіе, полное «крови и нерва», выйдя на приличную ему, обширную и свободную арену! Какою освѣжительною струею могло бы оно дохнуть въ нашу вялую, одержимую блѣдною немочью, повседневную печать!..

1900.

Stanford University Libraries
3 6105 005 578 310

A7A15
1905

STANFORD UNIVERSITY LIBRARI
CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-(
(415) 723-1493

All bo[illegible] may be recalled after 7 d

F/S OCT 17 1994
JUN 30 1995 DATE DUE
OCT 10 1995
OCT 1 0 1995
F/S JUN 30 1996